

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЛЮДИ



С. ДУРЫЛИН

ЛЕРМОНТОВ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 1944

Annotation

Книга о Великом русском поэте М. Ю. Лермонтове, прожившем короткую жизнь, но оставившем в русской литературе неизгладимый след.

- [Дурылин Сергей Николаевич](#)

-

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)

- [15](#)

- [16](#)

- [17](#)

- [18](#)

- [19](#)

- [20](#)

- [21](#)

- [22](#)

- [23](#)

- [24](#)

- [25](#)

- [26](#)

- [27](#)

- [28](#)

- [29](#)

- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)



Дурылин Сергей Николаевич ЛЕРМОНТОВ

1

29 января 1837 года умер Пушкин от смертельной раны, полученной на дуэли с французским эмигрантом, авантюристом Дантесом.

Три дня квартиру Пушкина на Мойке осаждали толпы народа. Женщины, старики, дети, простые люди в тулупах, а иные даже в лохмотьях — приходили поклониться праху любимого народного поэта.

Друг Белинского Я. М. Неверов писал в эти дни: «Участие к поэту народ доказал тем, что в одни день приходило на поклонение к его гробу 32 000 человек»^[1]

Глубокая скорбь о кончине великого народного поэта соединялась в сердцах этих тысяч людей с негодованием на тех, кто был истинным виновником его гибели — на раззолоченное светское и придворное общество, ненавидевшее поэта за свободолюбие и независимость. Там, в этом обществе, были те, кто травил Пушкина, вел против него коварную интригу и направил преступную руку проходимца Дантеса.

Общее народное чувство скорби и гнева искало голоса, который прозвучал бы на всю Россию.

И такой голос раздался.

Тотчас же после смерти Пушкина стало ходить по рукам в многочисленных списках стихотворение неизвестного автора:

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!

Оплакивая с глубокой скорбью гибель Пушкина, как великое народное горе, неизвестный поэт с пламенным негодованием напал на виновников его гибели:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона.
Пред вами суд и правда — всё молчи!..

Этим врагам Пушкина, которые
...так злобно гнали
Его свободный, смелый дар

поэт-обличитель грозил будущим судом история:

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!^[2]

Стихотворение это поразило и захватило всех гневной силой и суровой красотой. В тысячах списков оно проникло всюду, где знали имя Пушкина.

«Пушкин убит был на дуэли, — вспоминает критик В. В. Стасов, в 1837 году бывший учеником Училища правоведения. — Разговорам и сожалениям не было конца, а проникшее к нам тотчас же, как и всюду, тайком, в рукописи, стихотворение «На смерть Пушкина» глубоко взволновало нас, и мы читали и декламировали его с беспредельным жаром. Мы волновались, приходили в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненной геройским воодушевлением, готовые, пожалуй, па что угодно, — так нас подымала сила стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление»^[3].

Автор стихов скоро обнаружился. Это был двадцатидвухлетний офицер лейб-гвардии гусарского полка Михаил Юрьевич Лермонтов.

Имя это до того было подписано только под одним забытым стихотворением («Весна») в московском журнале «Галатей» да под поэмой из кавказской жизни «Хаджи Абрек», напечатанной в журнале «Библиотека

для чтения» и прошедшей незамеченною.

Теперь, с появлением стихов на смерть Пушкина, имя Лермонтова стало известно всей России.

Удар Лермонтова попал в цель. Николаю I стихи прислали с надписью: «Воззвание к революции». Императору почудилось, что в лице безвестного поэта вновь вошел на народную трибуну один из деятелей восстания 14 декабря 1825 года — вошел и возобновил свои свободные речи с новой силой, с поэтическим могуществом, напоминающим только что умершего Пушкина.

Николай I приказал посадить офицера Лермонтова на военную гауптвахту и произвести следствие по «делу о непозволительных стихах».

Лермонтов произнес над гробом Пушкина речь народного обвинителя, кипящего гневом на недругов народа, на губителей его чести и славы. Николай I понял: «Смерть поэта» — это суровое слово судьи. Действие этого слова было так сильно и так неопровержимо, что Николай I по окончании «следствия» ответил на стихи ссылкой Лермонтова на Кавказ: в секретном донесении шефу жандармов военный министр граф Чернышев писал: «Государь император соизволил Л. Гв. Гусарского полки корнета Лермонтова за сочиненно известных вашему сиятельству стихов перевести тем же чином в Нижегородский Драгунский полк».

А «известные стихи» тем временем уже обходили в рукописях всю Россию. И складывалось общее мнение:

Пушкин как бы передал свой голос Лермонтову.

Это мнение еще больше укрепилось после появления следующего стихотворения Лермонтова — первого его произведения, им самим отданного в печать.^[4] В мае того же 1837 года во второй книге осиротевшего журнала Пушкина «Современник» появилось «Бородино».

Четверть века прошло со времени великой битвы. Лермонтов поведал о ней словами скупого, бесхитростного солдатского рассказа. То был первый в русской литературе реалистический образ русского солдата, воспитанного в доблестной и суровой школе Суворова и Кутузова.

Поэт показал своего героя в ответственнейший момент исторического дела, когда руками солдата, на его крови создается будущее народа и утверждается историческое бытие его родины — России.

Лермонтовский бородинский боец полон сознания этой своей ответственности перед родиной. Он ее любит и готов отдать за нее жизнь; ему тяжело вынужденное, мучительное отступление.

Мы долго молча отступали,

Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

Лермонтов выбрал в рассказчики «Бородина» солдата-артиллериста, представителя того рода оружия, которое имело такое огромное значение в Бородинском сражении.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью:
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Рассказчик «Бородина» меньше всего озабочен тем, чтобы показать себя, свою роль в бою. Он рассказывает как бы от лица всех участников Бородинской битвы, несших ее великий труд и вместе же разделяющих ее славу: «наш рукопашный бой», «наш редут», «постоим мы головою за родину свою», «считать мы стали раны». В этом солдатском повествовании лично «мое» тонет в «нашем», в народном.

Лермонтов здесь глубоко проникает в коллективную психологию народа-героя.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва; ль за нами?
Умремте ж под Москвой,

Как наши братья умирали!»
— И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Бессмертна эта клятва русского народа, сказанная от его имени его поэтом!

...не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»

Не зазвучали ли наново эти слова в те грозные, суровые дни, когда снова чужеземные орды, гитлеровские орды, рвались к сердцу пашей земли, к Москве? К 1837 году, прочтя «Бородино», русский читатель убедился: да, у Пушкина действительно есть преемник— поэт, обладающий не только исключительным дарованием, но поэт народный, в лучшем и высшем смысле этого слова.

Год спустя — в 1838 году — в стихотворении «Поэт» Лермонтов с тоской напоминал об истинном назначении поэта, утраченном в «век изнеженный»:

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы...
.....
Твой стих, как божий дух, носился над
толпой
И, отзыв мыслей благородных.
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных,

В «Смерти поэта» и «Бородине» впервые прозвучал могучий колокол поэзии Лермонтова. Всего четыре года суждено было Лермонтову быть этим народным колоколом скорби и борьбы, но его чистые и светлые звуки находили широкий отзвук в лучших людях его времени и навсегда остались звучать в веках.

Ты сам свой высший суд,
Всех строже оценить умеешь ты свой труд —

с этим заветом Пушкин обратился к поэту, как «взыскательному художнику».

Лермонтов последовал завету Пушкина. Все, что он писал, он судил этим строгим судом, не знающим послабления и пощады.

До того как выступить в 1837 году с рукописною «Смертью поэта» и с печатным «Бородином», Лермонтов написал свыше трехсот лирических стихотворений (и среди них — изумительные «Ангел», «Парус», «Нищий», «Два великана»), двадцать четыре поэмы (в их числе — «Ангел смерти», «Измаил-бей», «Боярин Орша», первые редакции «Демона»), пять драматических произведений (одно из них — «Маскарад»), но ни одно из этих произведений, многие из которых потом были признаны классическими, не отдал он в печать. Следовательно, ни одно из них, по суждению Лермонтова, не могло выдержать того «высшего суда», каким он хотел судить и привык судить с ранних лет свои произведения.

Из своего творческого уединения Лермонтов-поэт вышел лишь тогда, когда этого потребовал долг гражданина, любовь к родине: его политическое выступление по поводу смерти Пушкина, его патриотическое выступление по поводу годовщины Бородина были первыми его выступлениями, как поэта.

История согласилась с «высшим судом» поэта: Лермонтов, действительно, дебютировал настолько совершенными поэтическими произведениями, что они выдержали нелицеприятный суд народа и суровый суд времени.

То, что сам Лермонтов впервые предложил своему читателю, — по строго художественной законченности, по могучей действенности на читателя, — было классическими произведениями. Их одних оказалось бы довольно, чтобы навсегда сохранить его имя в истории русской поэзии.

Этот беспримерный дебют — так, как Лермонтов, вступил в литературу, разве только один Лев Толстой со своим «Детством», — был возможен лишь потому, что ему предшествовали девять лет непрерывного, упорного, утаенного труда, — труда, которому отрок и юноша Лермонтов отдавался с нерушимым постоянством, с глубоким увлечением и с высоким вдохновением.

Лермонтов начал писать стихи, когда ему не было еще четырнадцати лет.

Но и в годы раннего детства Лермонтов уже собирал богатый запас мыслей и дум, образов и звуков, которым суждено было стать живыми ростками в его творчестве.

Ни один биограф не сумеет провести границы, определить время, когда Лермонтов начал быть поэтом, а сам Лермонтов неоднократно утверждал, что он родился поэтом:

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала.

Бабушку Лермонтова, Е. Л. Арсеньеву, заменившую ему мать, поражала ранняя любовь его к созвучиям речи. Он повторял слова в рифму и, улыбаясь, приходил к бабушке поделиться своею радостью.^[5]

В биографии Лермонтова одна другую сменяют главы: барчук в крепостной усадьбе; воспитанник «благородного пансиона» в Москве; студент Московского университета; петербургский юнкер; гвардеец-гусар, принятый в высшем свете; опальный офицер-драгун, сосланный на Кавказ; вновь гвардеец-гусар в Петербурге; и вновь на Кавказе, в армейском полку, в боевых делах с горцами; и еще — в последний раз — в Петербурге; и в последний же раз на Кавказе, до дня смертельного поединка.

Но это «собрание пестрых глав» короткой, по глубоко скорбной биографии Лермонтова таит внутри себя стройное жизнеописание поэта, его прекрасных «трудов и дней», составивших золотую главу в истории русского народа и его культуры.

Лермонтов родился в Москве, в ночь с 2-го на 3 октября^[6] 1814 года.

«Спаленная пожаром» 1812 года, Москва еще хранила грозные следы своей героической жертвы за независимость родины, и Лермонтов с раннего детства рос среди славных преданий и живых свидетелей «священной памяти двенадцатого года».

Москву он любил, как сердце России, как народную столицу, собравшую вокруг себя исторические силы русского народа.

Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,

Померяться главою и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул — он упал!

«Москва не есть обыкновенный город, каких тысяча, — писал Лермонтов в 1833 году. — Москва но безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись... богатую., обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!.. Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на чело грозного владыки?.. Он алтарь России, на нем должны совершаться, и уже совершались многие жертвы, достойные отечества... Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха?!»

Родившись в Москве, годы младенчества и детства Лермонтов провел в глубине России: в усадьбе Тарханы в бывшей Пензенской губернии.

Двухлетним ребенком Лермонтов остался без матери.

«Была песня, от которой я плакал, — вспоминал Лермонтов, — ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б услышал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать».

Этот образ матери, поющей над своим ребенком, ожил позднее в поэзии Лермонтова. В ранней «Балладе» (1831) —

«Не плачь, не плачь! иль сердцем чуешь,
Дитя, ты близкую беду!..

.....

Отец твой стал за честь и бога
В ряду бойцов против татар,
Кровавый след ему дорога,
Его булат блестит, как жар...»

А девять лет спустя тысячи русских матерей уже баюкали своих детей его чудесной «Казачьей колыбельной песней».

Мать Лермонтова, Мария Михайловна, умершая двадцати одного года,

писала стихи, грустные и трогательные, и рисовала в альбом, который потом достался сыну: еще ребенком он вносил в него и свои рисунки.

От матери своей, происходившей из старинного рода Арсеньевых, Лермонтов в сердечное наследие получил влечение к музыке и поэзии.

Отец Лермонтова, Юрий Петрович, был небогатый помещик, офицер, вышедший в отставку с чипом капитана. После смерти матери Михаил остался на руках бабушки Е. А. Арсеньевой».

С детских лет полюбил Лермонтов русскую природу и русский народ в его простом быте и в его великой истории. До двенадцатилетнего возраста Лермонтов жил в черноземной деревне — и успел напитаться всем, чем была богата русская деревня: чистой, яркой, выразительной речью, раздольной народной песней, поэзией народных обычаев, мудростью народных исторических преданий.

Перед Лермонтовым раскрывался прекрасный русский мир народной веры и поэзии. Лишь об одном жалел Лермонтов впоследствии: что возле него не было, как около Пушкина, Арины Родионовны: «Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская — я не слышал сказок народных: в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности». Зато Лермонтову еще в детстве довелось слышать из уст народа удалые песни про Степана Разина и живые предания о Пугачеве.

В отрывке из начатой повести об Александре Арбенине (1836) Лермонтов, описывая его детство, рисует собственное:

«Зимой горничные девушки приходили шить и вязать в детскую... Саше было с ними очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости... Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет уже он заглядывался на закат, усеянным румянными облаками, и непонятно-радостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку... Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок... Бог знает, какое направление принял бы его характер, если б не пришла на помощь корь... Тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ложки... Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой... В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привык побеждать страдания тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником среди синих и студеных волн, в

тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах при звуке песен, под свистом волжской бури».

Вот откуда, — еще с детских лет, — идет у Лермонтова глубокая тяга к так называемым «разбойничьим песням», к «удалецким сказаниям», которым он отдал дань в своем «Атамане» (1831), в повести «Вадим» (1832), в образе Арсения в поэме «Боярин Орша» (1835–1830). В «Атамане» слышится отзвук могучих народных песен о Степане Разине:

Горе тебе, город Казань,
Едет толпа удальцов
Сбирать невольную дань
С твоих беззаботных купцов.
Вдоль по Волге широкой
На лодке плывут:
И вёслами дружными плещут,
И песни поют.

В «Вадиме» — до пушкинской «Капитанской дочки» и независимо от нее — Лермонтов, первый из русских писателей, отозвался на народно-историческую тему — Пугачевское восстание. Всего пятьдесят лет отделяло его от отрочества Лермонтова.

В Тарханах было несколько живых современников Пугачева из крестьян: их-то рассказами и воспользовался Лермонтов, когда писал своего «Вадима». Печатных источников, до позднейшей пушкинской «Истории Пугачева», не существовало: тема о пугачевском движении была строго запрещенной. Юноша Лермонтов, принимаясь за свою повесть, шел против этого запрета.

Мальчик Лермонтов рос, окруженный крестьянскими детьми. Когда он «вступил в отроческий возраст, — рассказывали старожилы села Тарханы, — были ему набраны однолетки из дворовых мальчиков, обмундированы в военное платье, и делал им Михаил Юрьевич учение, играл в воинские игры, в войну, в разбойников».^[7]

«В саду у них было устроено что-то вроде батареи, на которую они бросались с жаром, воображая, что нападают на неприятеля».^[8]

Видывал в детские годы Лермонтов и старинную удалую русскую пехоту — кулачные бои. Его родственник и товарищ детства Л. П. Шан-Гирей вспоминает: «Зимой на пруду мы разбивались на два стана и перекидывались снежными комьями; на плотине с сердечным замиранием

смотрели, как православный люд стена на стену сходился на кулачки».^[9] Когда в «Песне про купца Калашникова» Лермонтову пришлось писать картину смертного боя между лихим опричником и удалым купцом, он мог извлечь ее из собственных воспоминаний.

Детство и отрочество, проведенные Лермонтовым в глухой русской деревне, среди неоглядных полей, зеленых, весело шумливых рощ, под годовой круг народных песен и обрядов, под вековой голос народных преданий, дало ему живое, сердечное чувство родины, которое с такой силой и простотой выражено им впоследствии в стихотворении «Родина». Но это же чувство родины «сквозит и тайно светит» и в отроческих и юношеских его стихах, как бы далеко по своим сюжетам и темам ни отходили они от России.

В раннем детстве же суждено было Лермонтову познакомиться с другой страной, которая стала второй отчизной его поэзии.

Еще ребенком попал он на Кавказ, куда привезла его бабушка, желая поправить на теплых водах его здоровье, и он имел право воскликнуть позднее, в юности: «Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое: вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас да о небе».

Кавказ был дорог Лермонтову не только как край гордой красоты, но и как «жилище вольности простой», «свободе прежде милый край», где вольные горские народы умеют любить свою суровую родину и защищать ее свободу.

Посвящая Кавказу свою поэму «Аул Бастунджи» (1831), Лермонтов делает глубоко искреннее, благодарное признание:

От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежной;
На севере, в стране, тебе чужой,
Я сердцем твой, — всегда и всюду твой —

«твой» именно потому, что Кавказ был для Лермонтова «суровый край свободы», где взор поэта находил могучие образы — мужей чести и героев борьбы.

До четырнадцатилетнего возраста Лермонтов, по его собственному признанию, не писал стихов. Его влекли к себе другие искусства — рисование, лепка, театр. Но тот не по-детски богатый и глубокий мир

чувств, мечтаний, и дум, который Лермонтов до того носил в себе, не исчез бесследно для творчества: этот мир отразился в ранней лирике Лермонтова, так пышно расцветшей в Москве, в пору его первой юности. И не только чувства и думы, но и образы перенес Лермонтов из детских мечтаний в юношеские стихи.

«Когда я еще мал был, — записал он однажды, — я любил смотреть на луну, на разнovidные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее, будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства.

В первом действии моей трагедии Фернандо, говоря с любезной под балконом, говорит про луну и употребляет предыдущее сравнение».

Вот оно:

Взгляни опять: подобная Армиде
Под дымкою сребристой мглы ночной
Она идет в волшебный замок свой.
Вокруг нес и следом тучки
Теснятся, будто рыцари-вожди...

.....

...посмотри,
Как шлемы их чернеются, как перья
Колеблются на шлемах... [\[10\]](#)

Так летучий призрак робких мечтаний ребенка превратился в поэтический образ романтической трагедии юноши.

Но нужно было тесно прикоснуться к образам других поэтов в их книгах, чтобы этот, давно рвавшийся наружу, тайный родник поэзии забил в Лермонтове сильным ключом.

Это случилось, когда он на пороге между отрочеством и ранней юностью склонился над книгами Пушкина и Байрона.

В 1828 году Лермонтов поступил в 4-й класс Благородного пансиона при Московском университете. Среди имен, записанных на «золотой доске» этого пансиона, было имя В. А. Жуковского. В пансионе

воспитывались Ал. Ив. Тургенев, кн. В. Ф. Одоевский, Грибоедов. Любовь и интерес к литературе продолжали жить в пансионе и во времена Лермонтова. По обычаю, шедшему со времен Жуковского, ученики издавали рукописный журнал «Утренняя заря». Пятеро из сверстников Лермонтова и по окончании пансиона продолжали писать и печататься.

Первые же литературные опыты Лермонтова, не дошедшие до нас, были замечены его учителями. «Я продолжал подавать сочинения мои Дубенскому, — пишет он в декабре 1828 года, — а «Геркулеса и Прометея» взял инспектор, который хочет издавать журнал «Каллиопу».

Учитель Д. Н. Дубенский был исследователь и переводчик «Слова о полку Игореве», а инспектор был профессор М. Г. Павлов, про которого Герцен в «Былом и думах» писал, что им «философия была привита Московскому университету».

Первоначально Лермонтов просто переписывал любимшие ему поэмы: «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, «Шильонский узник», переведенный Жуковским из Байрона. Затем он пробует писать сам — все еще как верный ученик: в первой поэме «Черкесы» (1828) звучат отголоски мелодий и образов Жуковского, Пушкина, Козлова, Батюшкова. Увлеченный пушкинским «Кавказским пленником», он пишет своего «Кавказского пленника» — с тем же сюжетом с теми же героем и героиней. Но отрок, учившийся писать по прописям Жуковского и по линейкам Пушкина, был Лермонтов — и в этом чужом звучит у него уже свое, лермонтовское. Герои «Кавказского пленника» обрисованы у Лермонтова чертами более суровыми, чем у Пушкина. Пленник у Пушкина не может любить черкешенку и сожалеет об этом. Пленник Лермонтова «не хотел ее любить»; черкешенка у Пушкина — сама самоотверженность: «ты любил другую, — говорит она пленнику, — найди ее! люби ее!» Черкешенка Лермонтова, наоборот, требует от него: «забудь ее! люби меня!» Лермонтов резко изменил конец поэмы: у Пушкина пленник счастливо достигает казачьей станицы, а черкешенка с тоски бросается в реку; у Лермонтова пленник падает от руки отца черкешенки, а сама она с отчаянья гибнет в Тереке. У Лермонтова поэма драматичнее, чем у Пушкина. Даже в тесноте одного и того же сюжета Лермонтов нашел свою творческую свободу, весьма значительную для четырнадцатилетнего отрока, зачарованного гением величайшего из современных ему поэтов.

В Лермонтове поражает единство и непрерывность, глубокая внутренняя и внешняя последовательность его творческого пути. Едва научившись лепетать на поэтическом языке, он уже заявляет свои основные темы, ваяет свои центральные образы и уже не расстаётся с ними в течение

всей жизни, лишь уясняя себе и углубляя с детства заявленную тему и совершенствуя вылепленные тогда образы.

Вот он прочел стихотворение Пушкина «Мой демон» (1823)^[11] и отвечает на него стихотворением «Мой демон» (1829).

Это «мой» звучит у отрока-поэта гордо и как будто самонадеянно: какой может быть «демон» у прилежного, отлично успевающего ученика Благородного пансиона? Но стоит сравнить оба стихотворения под одинаковым заглавием, как приходится признать, что отрок-поэт имел право сказать «мой демон». Демон Пушкина — это скептический собеседник, посещающий поэта в часы раздумья, это Мефистофель в костюме современника Онегина:

Его язвительнее речи
Вливали в душу хладный яд,
«Демон» Лермонтова совсем иной:
Носясь меж дымных облаков.
Он любит бури роковые,
И пену рек, и шум дубров...

Это не комнатный собеседник, который «на жизнь насмешливо глядел», это «царь познания и свободы», охватывающий в своем полете вселенную.

Пушкин написал свое стихотворение и покончил навсегда со своим «Демоном». Для отрока же Лермонтова его «демон» был лишь зерном творческой работы, занявшей всю жизнь.

В 1829 году, на скамье Благородного пансиона, Лермонтов написал уже первый очерк поэмы «Демон» и с тех пор творчески не расставался с нею до смерти. В дальнейшие годы: в университете и в юнкерской школе, в Петербурге и на Кавказе, Лермонтов много и усиленно работал над «Демоном» (сохранилось до семи его очерков), но уверенной рукой возмужалого художника он совершенствовал тот же образ. Поэма зрела вместе с самим поэтом, но начальные звуки поэмы, запечатленные им в пансионской тетради:

Печальный Демон, дух изгнания,
Блуждал под сводом голубым,
И лучших дней воспоминанья
Чредой теснились перед ним —

остались звучать и в последнем очерке поэмы.

Сгорая жаждою любви,
Несу к ногам твоим моления,
Земные первые мученья
И слезы первые мои —

говорит Демон «монахине» в очерке 1828 года. Эти же слова Демон говорит Тамаре и через десяток лет. Мысль о возрождении к новой жизни через самоотверженную любовь женщины, робко намеченная в 1829 году отроком, разрабатывается зрелым поэтом с мудрой глубиной, с поэтическим совершенством, но это все та же мысль.

Нет другого такого примера труда поэта над одним произведением в течение всей творческой жизни, какой дает Лермонтов своей работой над «Демоном».

В стихотворении «Наполеон», тоже написанном в Благородном пансионе (1829), юный поэт с восторженным удивлением вспоминает «героя дивного». Но вместе, с этим уже задается суровою зрелою думой о том же герое:

Зачем он так за славою гонялся?..
С невинными народами сражался?
И скипетром стальным короны разбивал?..
...Ему, погибельно войною принужденный,
Почти весь свет кричал; ура!

Но вот Наполеон встретился с великим народом;

Ты побежден московскими стенами...
Бежал!..

Это еще слабые стихи, но это уже истинное вдохновение, глубокая мысль: в них уже виден будущий автор «Двух великанов», «Бородина» и других произведений, где с такою силою образу «трехнедельного удальца», знаменитого завоевателя, противопоставлен могучий образ «русского

витазя» — образ непобедимого народа, победившего величайшего из полководцев.

Лермонтов при первых пробах своих поэтических струн уже извлекал из них величественные и искренние патриотические звуки.

Любовь к родине — это прежде всего любовь к ее свободе: то было заветною мыслью Лермонтова. Ею одушевлено одно из любимейших его созданий: поэма «Мцыри» (1840).

Но эта же мысль выражена поэтом и на заре его творчества в замечательном стихотворении «Жалобы турка» (1829):

Там рано жизнь тяжка бывает для людей,
Там за. утехами несется укоризна,
Там стонет человек от рабства и цепей!..
Друг! этот край... моя отчизна!

Словно боясь, что «друг», к которому обращены эти свободолюбивые стихи, не поймет, что «Турция» здесь только псевдоним, отрок-поэт приписывает:

Ах! если ты меня поймешь,
Прости свободные намеки...

Пройдет несколько лет, и уж без всяких «намеков» поэт открыто произнесет гневное обвинение «Свободы, Гения и Славы палачам», терзающим его отчизну, страстно им любимую.

Так еще на первой школьной скамье зазвучали у Лермонтова те высокие мотивы его поэзии, которые сделали его имя дорогим для русского народа.

Лермонтов успешно учился в Благородном пансионе, получал награды за ученье, много рисовал, еще больше читал, играл на скрипке, посещал театр, где восторгался игрой гениального Мочалова, но главным содержанием его жизни уже стало творчество.

Весною 1830 года Благородный пансион был закрыт по приказу Николая I, негодовавшего на дух «вольности» и власть литературных преданий, господствовавших в пансионе, где в свое время обучался не один из декабристов.

Лермонтов был принят в число «своекоштных студентов Нравственно-политического отделения» Московского университета. Ему не было еще шестнадцати лет, но в университетскую аудиторию вступал уже поэт, многому научившийся у своих русских предшественников и у великих поэтов Запада: у Шиллера, Байрона и Шекспира.

В это время на студенческих скамьях Московского университета сидели А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский, И. А. Гончаров, В. И. Красов, И. П. Ключников и много других будущих писателей и общественных деятелей.

Основанный Ломоносовым, Московский университет хранил заветы свободного просвещения.

«Государь его возненавидел, — говорит Герцен — Но, несмотря на это, опальный университет рос влиянием: в него, как в общий резервуар, вливались новые силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались ют предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее».

Про своих сверстников-студентов Герцен свидетельствует: «Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылевым, и что мы будем в ней... Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся, но и те молчали»^[12].

Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О Боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками.

Так Лермонтов сквозь грустную улыбку об ушедшей юности вспоминал впоследствии университет и шумливый круг студенчества.

Вокруг Лермонтова в недолгие университетские годы (сентябрь 1830–1832) теснился кружок товарищей, связанных общим интересом к литературе и театру. В своей драме «Странный человек», написанной в студенческие годы (1831), Лермонтов вводит нас в один из подобных студенческих кружков. За трубками и вином студенты — «ни одному нет больше 20 лет» — проводят вечер в оживленной беседе о романтизме, о литературе, о театре; молодежь с увлечением философствует

О Шиллере, о славе, о любви.

Студенты делятся своими впечатлениями о великом трагике Мочалове в шиллеровских «Разбойниках», сетуя, что они «общипаны» цензурой, — точь-в-точь, как сам Лермонтов писал тетке: «Как жалко, что вы не видали здесь... трагедию «Разбойники»... Мочалов в многих местах превосходит Каратыгина». Студенты с жаром читают и обсуждают романтические стихи своего товарища Владимира Арбенина, на самом деле — любимые заветные стихи из лирического дневника самого Лермонтова:

Моя душа, я помню, с детских лет,
Чудесного искала, —

и товарищи склонны думать, что поэт-студент «это писал в гениальную минуту».

Студенты в драме «Странный человек» горячо, даже страстно, говорят о родине — о Москве, о России, о русском народе:

«Господа! когда-то русские будут русскими?» — восклицает с задором один из студентов — и встречает достойный отпор от другого студента:

«А разве мы не доказали в 12 году, что мы русские? — такого примера не было от начала мира! — мы современники и вполне не понимаем великого пожара Москвы; мы не можем удивляться этому поступку; эта мысль, это чувство родилось вместе с русскими; мы должны гордиться, а оставить удивление потомкам и чужестранцам! ура! господа! здоровье пожара Московского!»

Это все чувства, все мысли самого студента Лермонтова, выраженные им в его стихах и прозе от раннего «Наполеона» (1829) до позднего

«Бородина» (1837).

Живой и непринужденный круг товарищеской беседы студентов разрывается приходом «мужика седого». Старый крестьянин открывает пред студенческой молодежью горькую картину крепостного житья-бытья: «Раз как-то барыне донесли, что, дискать, «Федька дурно про тебя говорит и хочет в городе жаловаться!» А Федька мужик был славной; вот она и приказала руки ему вывертывать на станке... а управитель был на него сердит. Как повели его на барской двор, дети кричали, жена плакала... вот стали руки вывертывать. «Господин управитель! — сказал Федька, — что я тебе сделал? ведь ты меня губишь!» — «Вздор!» сказал управитель. Да вывертывали да ломали... Федька и стал безрукой. На печке так и лежит и клянет свое рожденье... Где защитники у бедных людей? У барыни же все судьи подкуплены нашим же оброком. Тяжко, барин! Тяжко стало нам!»

Этот рассказ, прямо выхваченный Лермонтовым из жизни и написанный с безыскусственной простотой, с горячим сочувствием к крепостному крестьянству, вызывает взрыв негодования у отзывчивой студенческой молодежи.

Один из студентов, Владимир Арбенин — двойник самого Лермонтова, выражает общее чувство всего кружка, восклицая по адресу владельцев «крещеной собственности»:

«О! проклинаю ваши улыбки, ваше счастье, ваше богатство — все куплено кровавыми слезами. — Ломать руки, колоть, сечь, выщипывать бороду волосок по волоску!.. о боже!.. при одной мысли об этом я чувствую боль во всех моих жилах.....один рассказ меня приводит в бешенство!.. О, мое отечество, мое отечество!»

В этой сцене юноша Лермонтов хорошо и правдиво изобразил живую, вольную атмосферу маленьких студенческих кружков начала 30-х годов, в одном из которых сам был притягательным центром.

Именно к студенческим годам относится ряд произведений Лермонтова, в которых особенно рельефно выражены его общественно-политические симпатии и антипатии.

1830 год, первый «студенческий» год Лермонтова, был эпохой больших политических событий и потрясений: июльская революция во Франции, восстание в русской Польше, так называемые «холерные бунты» в России. Эти события вызвали живой отклик у Лермонтова.

Под впечатлением крестьянского и солдатского движения Лермонтов написал свое изумительное по силе стихотворение «Предсказание».

Это предсказание о победе народного восстания, о том, что в России «настанет год... когда царей корона упадет», сбылось через восемьдесят

семь лет.

Июльскую революцию во Франции Лермонтов приветствовал стихами:

Опять вы, гордые, восстали
За независимость страны,
И снова перед вами пали
Самодержавия сыны,
И снова знамя вольности кровавой
Явилось, победы мрачный знак.

Слово «мрачный» и слово «кровавый» не были осуждением в суровом поэтическом словаре Лермонтова.

Это ясно следует, например, из другого стихотворения, посвященного той же июльской революции, — стихотворения, где русский поэт обращается к свергнутому революцией Карлу X:

Есть суд земной и для царей —
..
И загорелся страшный бой;
И знамя вольности, как дух.
Идет пред гордою толпой.

Эту же идею неизбежного суда для «Свободы, Гения и Славы палачей» мы находим позднее в знаменитых стихах на смерть Пушкина. Это же сравнение «как дух» Лермонтов применил (как мы видели) и в стихотворении «Поэт»:

Твой стих, как божий дух, носился над толпой.

«Божий дух» здесь прежде всего дух вольности: знаменосцем вольности, по убеждению Лермонтова, должен быть поэт.

В том же, обильном народными бурями 1830 году Лермонтов написал поэму «Последний сын вольности».

Ее герой — Вадим, новгородский витязь IX века, упоминается в Никоновской летописи, как защитник вольности вечевого города против самовластия варяга — князя Рюрика. Таким героем, борцом за народную

вольность, Вадим изображен в старинной трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский» (1793). Трагедию эту Екатерина II назвала «непристойной», подвергла запрету и истреблению. Лермонтов читал «Вадима» Княжнина и знал о печальной судьбе трагедии. Знал он и отрывок из неоконченной поэмы Пушкина о Вадиме. «Дума» Рылеева о Вадиме, как герое древнерусской свободы, вряд ли была известна Лермонтову, но в своей поэме он как бы взял перо из рук поэта-декабриста и продолжил его прерванную песню. Подобно Рылееву, Лермонтов в мужественных, сильных стихах изображает угнетенное положение народа и гибель его свободы:

Вотще душа славян ждала
Возврата вольности: весна
Пришла, — но вольность не пришла.
Их заговоры, их слова
Варяг-властитель презирал;
Все их законы, все права,
Казалось, он пренебрегал.
Своей дружиной окружен,
Перед народ являлся он;
Свои победы исчислял,
Лукавой речью убеждал!
Рука искусного льстеца
Играла глупою толпой, —
И благородные сердца
Томились тайною тоской.

Без особого труда можно раскрыть политическое содержание этого лермонтовского отрывка, рылеевского по тону и по силе негодования: «Варяг» — Николай I (декабристы распевали песню, сложенную А. Бестужевым и Рылеевым: «Царь наш — немец прусский, носит мундир русский»); «заговоры» — восстание декабристов; «дружина» — учрежденная Николаем I жандармерия во главе с Бенкендорфом; «победы» — только что закончившиеся (1829) войны с Персией и Турцией; «льстецы» — толпа официозных поэтов, прославлявших Николая I.

Этой дружине и этим льстецам Лермонтов противопоставляет Вадима. В его лице Лермонтов воздвигал образ борца-мстителя за поработенный народ.

Покорность существующему произволу, бездействие перед лицом народных страданий Вадиму кажутся позорными.

Вадим внимает песням народного певца-старца:

Он поет о родине святой,
Он поет о милой вольности.

Песни эти прекрасны: они святы своей любовью к родине, но они дороги Вадиму прежде всего, как призыв к действию, к борьбе за свободу:

«Ужель мы только будем петь,
Иль с безнадежием немым
На стыд отечества глядеть?»

Это вопрос не только древнего Вадима, это вопрос самого Лермонтова. С таким вопросом к своим современникам обращались поэты-декабристы: Рылеев, Кюхельбекер, А. Одоевский, участники восстания 1825 года.

Подобно Герцену и Огареву, в университете Лермонтову нетрудно было познакомиться с запрещенными сочинениями декабристов, ходившими по рукам студентов. Но Лермонтов знал декабристов, быть может, больше и ближе, чем это было доступно Герцену и Огареву.

В пансионские и студенческие годы Лермонтов проводил летние месяцы в Середникове, под Москвой. В этом имении покойного Дмитрия Алексеевича Столыпина, брата бабушки Лермонтова Е. А. Арсеньевой, была жива память о 14 декабря. Дмитрий Столыпин командовал корпусом в Южной армии, откуда вышла наиболее революционно настроенная фаланга декабристов во главе с Пестелем. Просвещенный человек, заводивший в армии школы взаимного обучения для солдат, двоюродный дед Лермонтова был в близких отношениях со многими декабристами. Он умер скоропостижно в Середникове во время арестов после 14 декабря.

Другой Столыпин, Аркадий Алексеевич, брат предыдущего, был уже совсем в близких, даже дружеских отношениях с Рылеевым и Бестужевым. Во время суда над декабристами Николай Бестужев дал показание, что Столыпин «одобрял тайное общество и потому верно бы действовал в нынешних обстоятельствах вместе с ним». «Действовать» Аркадию Столыпину не пришлось: он умер в апреле 1825 года. К его вдове Рылеев обратился с сердечным и знаменательным посланием:

Священный долг перед тобою —
Прекрасных чад образовать.
Пусть их сограждане увидят
Готовых пасть за край родной.
Пускай они возненавидят
Неправду пламенной душой.

Один из детей Аркадия Столыпина, Алексей Аркадьевич, по прозвищу Монго, был близким другом Лермонтова. А внучатный племянник Аркадия Столыпина Михаил Лермонтов стал истинным наследником гражданской и патриотической лиры Рылеева.

Но если Рылеев в своих стихах весь полон еще надежды на победу, — Лермонтову приходилось писать уже в те темные годы, когда одни из декабристов были казнены, другие томились на каторге и в ссылке в Сибири или служили простыми рядовыми на Кавказе. Вот отчего не только звуки гнева и борьбы, но и мелодии грусти и печали раздавались с мятежной лиры Лермонтова. Его герой Вадим погибает в неравной борьбе с «варягом». Но, и умирая, он полон веры в правоту своего освободительного дела:

Не плачьте... я родной стране
И жизнь, и счастье принес...
Не требует свобода слез!

В поэме «Последний сын вольности» есть замечательные строки:

Но есть поныне горсть людей,
В дичи лесов, в дичи степей:
Они, увидев падший гром.
Не перестали помышлять
В изгнании дальном и глухом,
Как вольность пробудить опять;
Отчизны верные сыны
Еще надеждою полны.

В этих строках поэмы, напечатанной только через восемьдесят лет

после смерти Лермонтова, слышится горячее, почти восторженное воспоминание о декабристах с убеждением в том, что они не отказались от своих освободительных идеалов и надежд.

Лермонтов еще в детских годах поражал силою волевого начала в своем характере. Свидетели детства, отрочества и ранней юности поэта говорят об его властности, о непреклонности в осуществлении поставленной цели. В нем рано пробудился темперамент борца и воля к борьбе, и он рано осознал это основное свойство своей жизненной и поэтической природы.

В 1831 году студент Лермонтов записал в своем дневнике (11 июня):

Так жизнь скучна, когда боренья нет
.....
Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.
Всегда кипит и зреет что-нибудь
В моем уме. Желанье и тоска
Тревожат беспрестанно эту грудь.
Но что ж? Мне жизнь все как-то коротка
И все боюсь, что не успею я
Свершить чего-то! — жажда бытия
Во мне сильней страданий роковых,
Хотя я презираю жизнь других.

Эти искреннейшие юношеские строки охватывают всю жизнь Лермонтова: в них вкратце — вся его биография, но в них же вкратце — и вся история его поэзии.

Основным стремлением Лермонтова в поэзии и жизни было стремление к борьбе, к подвигу «великого героя» — и отсюда же проистекала у него мятежная тоска: из-за невозможности найти в условиях исторической действительности 1830–1840 годов нужный простор для этих подвигов.

Недаром самый образ поэта был для Лермонтова равнозначен с образом бойца.

Каждой строкой своих произведений, каждым фактом своей недолгой жизни Лермонтов засвидетельствовал свое убеждение в том, что жизнь,

достоинная человека, это жизнь, отданная на борьбу за высшие цели человеческого бытия, за достоинство человеческой личности, за мудрую смелость мысли и воли, за независимость родины, за свободу и счастье народа, за высокое будущее человека и человечества.

В юные годы (1828–1835) Лермонтов пишет одну за другого поэмы («Исповедь», «Ангел смерти», «Измаил-бей», «Боярин Орша» и др.), драмы («Испанцы», «Люди и страсти», «Странный человек»), роман («Вадим»), героем которых неизменно является гордый и одинокий юноша с мятежной душой, со свободной мыслью, с твердой волей, с чувством неумолкаемого, неутолимого протеста против всего, что есть рабского и насильнического в жизни, в быте людей, в установлениях религиозных и государственных.

В этом молодом герое, который появляется под обликом то испанца времен инквизиции (герой «Исповеди», Фернандо в «Испанцах»), то романтического индуса Зораима («Ангел смерти»), то Арсения, боярского холопа XVI века («Боярин Орша»), то пугачевца Вадима, то московского студента 30-х годов (Владимир в «Странном человеке»), — в этом юноше, умеющем любить и ненавидеть, бороться и страдать, сквозят черты самого Лермонтова, звучит его негодующее слово, кипит его подлинная любовь и ненависть.

Эти страстные юношеские стихи и поэмы Лермонтова родственны творчеству Байрона. В мировой поэзии можно назвать много поэтов, которые испытали на себе влияние великого английского поэта, но нельзя указать другого поэта, который был бы так близок к Байрону, как Лермонтов. Но это близость не подражания, а внутреннего родства.

В 1830 году Лермонтов писал в своем лирическом дневнике:

Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел.
У нас одна душа, одни и те же муки; —
О если б одинаков был удел!..
Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой,
Любил закат в горах, пенящиеся воды,
И бурь земных, и бурь небесных вой.

Вряд ли найдется в мировой поэзии другое признание, в котором с такой силой и искренностью было бы выражено желание одного поэта, начинающего, срастись с судьбою другого поэта, закончившего свой путь.

Байрон был близок и дорог Лермонтову не только, как великий певец свободы, — он был близок и желанен ему, как борец за свободу: участник революционного движения в Италии, Байрон нашел смерть в борьбе за освобождение Греции.

Юноша Лермонтов много думал о России и об ее исторических судьбах. Он замыслил трагедию из эпохи борьбы русского народа с татарами. В лице ее героя, Мстислава Черного (его прозвище — от черных дум о судьбе Руси под игом татар), Лермонтов хотел изобразить печальника за свою родину, поднимающего меч освобождения. Верный исторической правде, Лермонтов не мог закончить трагедию победой русских над татарами: победа эта пришла в более позднюю пору, — и все же конец трагедии исполнен веры в освобождение родины: «Мстислав умирает и просит, чтоб над ним (старый воин. — С. Д.) поставил крест. И чтоб рассказал его дела какому-нибудь певцу, чтобы этой песнью возбудить жар любви к родине в душе потомков». Замышляя поэму «Боярин Орша», Лермонтов переносился в XVI век, в Русь Ивана Грозного, с его борьбой за западные рубежи страны; старый боярин Орша отдает жизнь, обороняя родную землю. В романе «Вадим» Лермонтов, как уже было сказано, первый из русских писателей изображает пугачевское восстание. В 1832 году, к двадцатилетию Бородинской битвы, он написал «Поле Бородина» — первый очерк знаменитого стихотворения, где вспоминал о славных страницах русской военной истории: о Полтавской битве, о разгроме турецкого флота под Чесмою, о победе Суворова при Рымнике. Одновременно он написал «Два великана» — о победе «русского витязя» над «трехнедельным удальцом» Наполеоном. Все это — великие думы о России и могучие образы, извлеченные из ее прошлого.

А в лирических стихах (их за годы отрочества и юности написано свыше 300) Лермонтов уже дает чудесные картины русской природы и раскрывает себя, как чистейшего выразителя лучших чувств, дум и устремлений своего поколения, давшего России Герцена, Огарева, Белинского, Тургенева: в эти ранние голы Лермонтовым уже созданы такие перлы русской лирики, как «Нищий», «Ангел», «Парус».

И, глубже заглядывая в свою душу, пристальнее вникая в свое творчество, Лермонтов делает в 1832 году другое признание — величайшей важности:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,

Но только с русской душой.

Чем более мужал гений Лермонтова, тем крепче и неразрывней становилась его связь с народом. Лучшие создания Лермонтова — это те, в которых с наибольшей чистотой и силой проявилась его «русская душа», единая у него с русским народом.

Студенческие годы Лермонтова, столь богатые внутренней жизнью, от всех утаенной, и творческим трудом, от всех укрытым, были богаты и чувством любви.

В лирике Лермонтова легко найти ряд сердечных признаний, обращенных к женщинам. Но по-настоящему — всю жизнь — Лермонтов любил одну женщину, с которой встретился еще в 1828 году. Товарищ детства и юности Лермонтова, А. П. Шан-Гирей, через полвека после смерти поэта раскрыл тайну этой неизменной любви:

«Будучи студентом, он был страстно влюблен в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле слова восхитительную Варвару Александровну Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку... Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения, но оно не могло набросить (и не набросило) мрачной тени на его существование, напротив: в начале своем оно возбудило взаимность, впоследствии, в Петербурге, в гвардейской школе, временно заглушено было новой обстановкой и шумною жизнью юнкеров тогдашней школы, по вступлении в свет — новыми успехами в обществе и литературе, но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины... Мы играли в шахматы, человек подал письмо, Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: «вот новость — прочти», и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве В. А. Лопухиной».^[13]

Она, как пушкинская Татьяна, вышла за нелюбимого человека, старше ее годами. Но любовь к ней Лермонтов пронес до конца жизни и отразил ее в изумительных стихах и излюбленных образах своих поэм. В. А. Лопухиной посвящены, не оглашая ее заветного имени, первые очерки «Демона»; себя мнил Лермонтов Демоном, ее — «монахиней» и «Тамарою». Посвящая ей «Демона» (1831), поэт молил:

Прими мой дар, моя Мадонна!
С тех пор как мне явилась ты,
Моя любовь мне оборона
От порицаний клеветы.

.....

Теперь, как мрачный этот Гений,
Я близ тебя опять воскрес
Для непорочных наслаждений,
И для надежд, и для небес.

И в конце жизни, в одном из самых нежных, благоуханных своих созданий — «Ребенку» (1840), вызванных мгновенной встречей с ребенком В. А. Бахметьевой (Лопухиной), поэт с тихой грустью и теплой верностью отображал милый образ:

Ты на нее похож... Увы! года летят:
Страдания ее до срока изменили;
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной...

Студенческие годы Лермонтова, давшие так много его сердцу, мысли и музе, оборвались почти внезапно.

1 июня 1831 года Лермонтов подал в Московский университет прошение об увольнении его «по домашним обстоятельствам» с просьбой «снабдить надлежащим свидетельством для перевода в Императорский Санктпетербургский университет». Свидетельство это Лермонтов получил, но когда, приехав в Петербург осенью 1832 года, он явился в тамошний университет, ему там отказали в зачете двух лет пребывания в Московском университете. Приходилось сызнова начинать «годы ученья». Лермонтов не пошел на это, предпочел поступить в школу гвардейских подпрапорщиков, чтобы через два года «выйти в офицеры и, таким образом, на два года раньше вступить в жизнь.

Своему близкому другу М. А. Лопухиной, сестре любимой девушки, он писал из Петербурга:

«До сих пор я жил для литературной карьеры, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вот теперь я — воин. Быть может, это

особенная воля провидения; быть может, этот путь кратчайший, и если он не ведет меня к моей первой цели, может быть, приведет к последней цели всего существующего: умереть с пулею в груди — это стоит медленной агонии старика. Итак, если начнется война, клянусь вам богом, что всегда буду впереди».

Эту клятву Лермонтов исполнил; на войне, на Кавказе, он всегда был впереди, презирая опасность.

Но два года пребывания в юнкерской школе он называл впоследствии «двумя страшными годами».

Страшны они были не тем, что в военной школе приходилось подчиняться дисциплине, усиленно заниматься строевыми учениями, во время лагерных сборов спать на голой земле. Впоследствии, на Кавказе, Лермонтову приходилось по обстоятельствам военного времени жить в гораздо худших условиях. Страшны эти два года Лермонтову были тем, что они оторвали его от умственной жизни, от писательского труда, страшны они были тем, что поэту приходилось жить в среде, резко враждебной мысли и литературе: достаточно указать, что по уставу школы юнкерам было запрещено читать книги литературного содержания! Самое военное дело изучалось в школе не по существу, а больше со стороны внешней «парадировки», как искусство смотровой «выправки».

За показным блеском в школе подпрапорщиков крылось удушливое безмолвие и нравственная распущенность. Умственная и моральная атмосфера в школе была во всем противоположна той, что была в Московском университете.

Как отразилась эта атмосфера на Лермонтове? В школе Лермонтов резко оборвал свой лирический дневник. Он почти перестал в эти «страшные годы» писать стихи. За все время пребывания в школе он, кроме шуточных стихов, написал лишь одну поэму «Хаджи Абрек» и остался ею недоволен.

Именно в это время М. А. Лопухина (сестра Вареньки) встревоженно писала Лермонтову: «Если вы продолжаете писать, не делайте этого никогда в школе и ничего не показывайте вашим товарищам, потому что иногда самая невинная вещь причиняет нам гибель». Лермонтов послушался этого дружеского предупреждения и оборвал свой роман о крестьянском восстании «Вадим», столь опасный в стенах военной школы николаевского времени.

Лишь от одного заветного труда не мог отказаться Лермонтов даже и в стенах этой школьной казармы — от «Демона»: к 1833 году относится третий очерк этой поэмы.

Отказавшись от своего лирического дневника, Лермонтов только в письмах к М. А. Лопухиной и к своей двоюродной сестре А. М. Верещагиной позволял себе откровенно говорить о том, что испытывал в школе подпрапорщиков.

«Я, право, не знаю, каким путем идти мне, путем порока или глупости, — пишет он 19 июня 1833 года. — Правда, оба эти пути часто приводят к одной и той же цели. Знаю, что вы станете увещевать, постараетесь утешать меня — было бы напрасно! Я счастливее, чем когда-либо, веселее любого пьяницы, распевającego на улице! Вас коробит от этих выражений; но, увы! «скажи, с кем ты водишься — и я скажу, кто ты!»

Не безраздумным весельем и жизненным размахом, а глубокой, тщетно скрываемой тоской веет от этих признаний, и в одном из следующих же писем (23 декабря 1833 года) к той же М. А. Лопухиной Лермонтов уже не может скрыть этой тоски, глубокого разочарования в своем жизненном пути и горького предчувствия, что у него нет будущего:

«Моя будущность, блистательная на вид, в сущности, пошла и пуста.

Должен вам признаться, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет: со всеми моими прекрасными мечтаниями и ложными шагами на жизненном пути; мне или не представляется случая, или недостает решимости. Мне говорят, что случай когда-нибудь выйдет, а решимость приобретется временем и опытом!.. А кто порукою, что, когда все это будет, я сберегу в себе хоть частицу пламенной молодой души, которой бог одарил меня весьма некстати, что моя воля не истощится от выжидания, что, наконец, я не разочаруюсь во всем том, что в жизни служит двигающим началом?»

22 ноября 1834 года поэт был произведен в корнеты лейб-гвардии гусарского полка.

Он начал жизнь блестящего гвардейского офицера. Его «чужачества» и «шалости» были на виду и на устах всего светского и военного Петербурга. Он имел право сказать: «Теперь я не пишу романов, я их делаю». В эти именно годы (1830–1835) сложился тот образ Лермонтова — злого остроумца, дерзкого проказника, заносчивого дэнди, великосветского Печорина, гвардейца в блестящем гусарском мундире, слегка задрапированном байроническим плащом, — тот внешний образ, которому никогда не соответствовал истинный облик поэта, по который, во мнении большинства современников и мемуаристов, был утвержден за подлинно лермонтовский образ.

Но в это же самое время он с глубокой грустью писал Л. М. Верещагиной: «Я почти не достоин более вашей дружбы... И все-таки,

если посмотреть на меня, покажется, что я помолодел года на три — такой у меня счастливый и беззаботный вид человека довольного собою и всем миром; этот контраст между душою и внешним видом не кажется ли вам странным?»

«Доволен» ли был Лермонтов собою и окружающей средой, — о том свидетельствуют его произведения, написанные в эту эпоху.

Главное из них — драма в стихах «Маскарад» (1835). Эта драма из жизни высшего общества Петербурга, поистине, написана «железным стихом, облитым горечью и злостью». Лермонтов изобразил это общество, мнящее себя «светом» целой страны, в состоянии морального падения и разложения, еще более глубокого, чем то, которое Грибоедов изобразил в своем «Горе от ума». Весь «большой свет» — маскарад. Под масками аристократической чинности и чопорной благопристойности скрыты рабская угодливость пред власть имеющими, наглая дерзость разврата, алчная откровенность наживы, вопиющее ничтожество мысли и измененность чувств. Как Чацкий презирает ничтожную среду Фамусовых и Молчалиных, так Арбенин, герой «Маскарада», презирает жизнь, обычаи, дела и мысли светской черни, которою он окружен. Что ни стих в роли Арбенина, то злая эпиграмма на этих великосветских рабов низкопоклонства, корысти и лицемерия. Лермонтов наделил Арбенина немалыми запасами своей собственной тонкой иронии, высокой грусти и пламенной ненависти. Но Лермонтов с такой же суровой правдивостью отнесся и к Арбенину, как к другим действующим лицам «Маскарада». Для ума Арбенина нет уже пищи, для его чувства нет простора, для его сил нет применения в тех жизненных условиях, в которых он обречен жить. Одинокий и мятежный, он гибнет бесплодно.

Отданная Лермонтовым на театр драма «Маскарад» трижды была запрещена цензурой. Она увидела свет рампы уже много лет спустя после смерти Лермонтова.

В «Маскараде» Лермонтов начал свой суд над «Свободы, Гения и Славы палачами».

Так вдохновенный творческий путь Лермонтова, укрытый от всех в течение многих лет, привел его к тому произведению — «Смерть поэта», — которое сделало имя его автора известным всей России и привело его к ссылке на Кавказ.

Со стихами «Смерть поэта» вновь забил в Лермонтове родник поэзии.

«Под арестом к Мишелю пускали только его камердинера, приносившего обед, — вспоминает А. П. Шан-Гирей. — Мишель велел завертывать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спичек написал несколько пьес, а именно: «Когда волнуется желтеющая нива», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою», «Кто б ни был ты, печальный мой сосед», и переделал старую пьесу «Отворите мне темницу», прибавив к ней последнюю строку: «Но окно тюрьмы высоко».

[14] За несколько дней заключения в ордонанс-гаузе (гауптвахте) Лермонтов написал почти столько же, сколько за целый 1836 год, — и все, что ни создал он тогда, были жемчужины русской лирики.

С тех пор до конца жизни у Лермонтова не спадает этот прилив творческих сил: все, что он ни пишет в эти годы, все превосходно; поэт как бы не может уже писать слабых или посредственных вещей. Период ученичества для него кончен. Он теперь — зрелый мастер. Его стих и проза уже выдерживают «высший суд» поэта: он более не таит своих произведений.

Вырванный из пустоты светского петербургского общества, поэт встретился с величественным и грозным Кавказом, как с давним другом.

Лермонтов получил назначение прапорщиком в Нижегородский драгунский полк, расположенный в Грузии, недалеко от Тифлиса.

В замечательном письме к С. А. Раевскому, сосланному в Петрозаводск за распространение стихов на смерть Пушкина, Лермонтов рассказал:

«С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в непрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже... Пью вино только когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь... Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, я слышал только два-три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался; раз ночью мы ехали втроем из Кубы: я, один офицер из нашего полка и черкес (мирный, разумеется), — и чуть не попались шайке лезгин. Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные... Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную

коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко, оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к чорту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту: так сидел бы да смотрел целую жизнь.

Начал учиться по-татарски, — язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе... Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь только остается проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а, право, я расположен к этому роду жизни».

В оживленных, бодрых строках этого письма к ссыльному другу сквозит радость узника, вырвавшегося из душной тюрьмы на широкий простор. Такой тюрьмой был для Лермонтова императорский Петербург, и таким простором для него, как для многих лучших русских людей 1820–1850 годов, был Кавказ с его дикой, мощной природой и с его народами, упорными в защите вольности родных гор. Лермонтову удалось «изъездить» весь Северный фронт (линию) войны с горцами, от Тамани на Черном море, описанной им в знаменитой одноименной повести, до Кизляра — крепости на Тереке, недалеко от впадения его в Каспийское море. Он узнал те места, где происходит действие «Бэлы», и прикубанские горы, где действуют многие герои его кавказских поэм, начиная с отроческих «Черкесов» (1828). Он близко узнал Военно-грузинскую дорогу, с такой силой и правдой описанную в «Бэле».

Эта встреча с Кавказом возродила, обновила, углубила творческие замыслы Лермонтова.

Он с 1829 года, как знаем, работал над «Демоном» и все не мог установить окончательно место действия поэмы: действие происходит то в неопределенной «романтической» стране, то, как будто в Испании; Лермонтову остается неясной, кто она, эта «монахиня», которую хочет не то любить, не то погубить этот «незнакомец», «сеющий зло без наслажденья». Неясна поэту и природа этой романтической страны: Лермонтов рисует ее бледными красками, наложенными на бедный рисунок.

Но вот он «переехал горы», между Владикавказом и Тифлисом, — пред ним обнажились в невиданном, грозном величии «сердце гор» и ослепительные долины Грузии с их жгучей красотой. В Кахетии раскрылся пред поэтом мир древних горских преданий. Лермонтов, некогда писавший

детские стихи об освобождении Геркулесом Прометея, похитившего для людей огонь с неба, услышал грузинскую и кахетинскую легенду о том же Прометее, о горном духе Амирани, прикованном в пещере к скале. Лермонтов был зачарован еще одной легендой — о любви горного духа Гуда к девушке-грузинке Нино и об его ненависти к ее возлюбленному юноше Сосико.^[15] Из этих горских легенд и прекрасных горных обликов Осетии и Грузии возник у Лермонтова окончательный образ страны и героев его давней поэмы. Действие «Демона» теперь твердо перенесено в горную Грузию. Безыменная бледная «монахиня» превратилась в юную грузинку — княжну Тамару.

Лермонтов, талантливый рисовальщик и живописец, недаром, странствуя в горах, «снял виды всех примечательных мест» Кавказа — эти «виды» превратились в «Демоне», в «Мцыри», в «Бэле» в неподражаемые по краскам и верности колорита картины кавказской природы. Декабрист А. Е. Розен, служивший на Кавказе и лично знавший Лермонтова, находил, что «верное изображение» Кавказа «не удалось ни вольному путешественнику поэту Пушкину, ни Грибоедову, ни невольным странникам (то есть декабристам — С. Д.) — Бестужеву, Одоевскому. Всего лучше отрывками нарисован Кавказ поэтом Лермонтовым, который волею и неволею несколько раз скитался по различным направлениям чудной страны и чудной природы».

В странствиях по Кавказу обрел Лермонтов окончательный образ и завершительную форму и для другого давнего своего поэтического замысла — для поэмы о молодом мятежнике. Этот любезный и родственный Лермонтову образ принимал различные очертания. В первом очерке поэмы об одиноком юном мятежнике — «Исповедь» (1830) — он был испанцем времен инквизиции, во втором очерке — «Боярин Орша» (1835) — он был удалым Арсением, холопом русского боярина XVI века.

«Когда Лермонтов, странствуя по старой Военно-грузинской дороге, изучал местные сказания, видоизменившие поэму «Демон», он наткнулся в Мцхете... на одинокого монаха, старого монастырского служку — «бэри» по-грузински... Сторож был последний из братии упраздненного близлежащего монастыря. Лермонтов с ним разговорился и узнал от него, что он родом горец, плененный ребенком генералом Ермоловым во время экспедиции. Генерал его вез с собой и оставил заболевшего мальчика монастырской братии. Тут он и вырос; долго не мог свыкнуться с монастырем, тосковал и делал попытки к бегству в горы. Последствием одной такой попытки была долгая болезнь, приведшая его на край могилы... Любопытный и живой рассказ «бэри» произвел на Лермонтова

впечатление».^[16]

Это впечатление Лермонтов воплотил в образы, мысли и картины своей гениальной поэмы «Мцыри», завершившей его попытки написать поэму о юном мятежнике.

На Кавказе нашел окончательное воплощение и третий поэтический замысел Лермонтова — его «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

«Песня» завершает собою ряд давних попыток Лермонтова проникнуть в дух, жизнь, быт древней Руси. Былинным складом написана «Песня», и идет она словно из той же самой сокровенной глубины народного творчества, откуда вышли былины и песни, в которых русский народ выразил свои заветные, исторически сложившиеся думы о доблести и чести, о бестрепетном подвиге в жизни и в истории. Герой лермонтовской «Песни» Степан Калашников с суровой простотой и гордой силой совершает подвиг своей мести за поруганную честь жены. В этом московском купце живет высокое сознание своего человеческого достоинства, соединенное с внутренней непреклонностью, независимой твердостью. На вопрос Грозного царя:

— Отвечай мне по правде, по совести.
Вольной волею или нехотя
Ты убил насмерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича?

Степану Калашникову легко бы ответить: «нехотя», — и он снял бы с себя вину. Но ответ его прям и горд:

— Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что про что — не скажу тебе...

И Степан Калашников идет на злую казнь с таким же достоинством и спокойствием, с каким шел на казнь Степан Разин, любимый герой народной песни и истории...

И гуляют, шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою

И проходят мимо люди добрые, —
Пройдет стар человек — перекрестится,
Пройдет молодец — приосанится.
Пройдет девица — пригорюнится,
А пройдут гуслиеры — споют песенку, —

может быть, эту самую «Песню про удалого купца Калашникова».

Действительно, кажется, не сочинена она, а записана поэтом с голоса народного сказителя, как записаны былины: так, поистине, народны ее речь, ее стих, ее образы. Если ее Степан Парамонович — достойный сородич былинных богатырей, то ее царь Иван Васильевич — это тот самый царь, грозный в гневе, щедрый в милости, про которого поют народные исторические песни...

Но Лермонтов не записал, а написал свою «Песню про царя Ивана Васильевича», — он окончательно обработал ее на Кавказе, во время болезни, не позволявшей ему выходить из комнаты, и отослал ее в Петербург А. А. Краевскому, издававшему «Литературные прибавления» к военной газете «Русский инвалид». Цензор нашел совершенно невозможным делом напечатать стихотворение человека, недавно сосланного на Кавказ. Только благодаря хлопотам В. А. Жуковского «Песню» удалось напечатать с подписью безыменной, как могила Калашникова, — в».

Через три года Белинский писал о «Песне»: «Здесь поэт от настоящего мира не удовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа». Лермонтов, «как будто современник этой эпохи», усвоил себе ее «богатырскую силу и широкий размет чувства».

Эту же глубокую неудовлетворенность современностью и благородную оглядку на могучих людей великого прошлого Белинский вычитывал в словах героя «Бородина»:

Да, были люди в наше время.
Не то что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!

«Основная идея этого стихотворения, — говорит Белинский, — эта мысль — жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии,

зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел».

Именно на Кавказе, где живою былью было преданье о стойкости и мужественности русских офицеров и солдат и о неменьшей храбрости и отважности горцев, сражавшихся с ними, — именно на Кавказе Лермонтову стала особенно разительна противоположность между подлинными людьми долга, героями доблести, и теми «лишними людьми», которые наполняли петербургские и московские гостиные.

На Кавказе же встретился Лермонтов и с лучшими людьми недавнего прошлого, с героями гражданского долга и политической чести — с декабристами. В Пятигорске и Ставрополе Лермонтов вошел в кружок декабристов, отбывших ссылку в Сибири и служивших в Кавказской армии. Среди этих декабристов были: М. А. Назимов, М. М. Нарышкин, князь В. М. Голицын, О. И. Кривцов, барон А. Е. Розен, В. И. Лихарев, князь А. И. Одоевский. «Лермонтов часто захаживал к нам, — вспоминал впоследствии Назимов, — и охотно и много говорил с нами о разных вопросах личного, социального и политического мировоззрения».

Из этого кружка декабристов теснее всего сблизился Лермонтов с поэтом А. И. Одоевским:

...мы странствовали с ним
В горах востока... и тоску изгнанья
Делили дружно...

Так вспоминал о нем Лермонтов в 1839 году, узнав об его кончине, и в чудесных стихах, исполненных грусти и нежности, воссоздал светлый и обаятельный образ юноши-поэта, в семнадцать лет вышедшего в рядах восставших на Сенатскую площадь.

Он был рожден для них, для тех надежд,
Поэзии и счастья... но, безумный —
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной.
И свет не пощадил, и бог не спас!
Но до конца среди волнений трудных,
В толпе людской и средь пустынь безлюдных
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,

И веру гордую в людей и жизнь иную.

А. И. Одоевский погиб в 1839 году от кавказской лихорадки, сразившей его на берегу Черного моря во время военной экспедиции.

Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей.

Лермонтов не усомнился поместить этот портрет декабриста под прозрачным заглавием «Памяти А. И. О-го» в «Отечественных записках» (183-9, т. VII, № 12). Это был первый, после суда над декабристами случай, когда в печати появилась не хула, а хвала декабристу и его внутренней доблести.

«Ему некому было руку подать в минуту душевной невзгоды», — вспоминает о Лермонтове А. И. Васильчиков, — и когда, в невольных странствованиях и ссылках, удавалось ему встречать людей другого закала, вроде Одоевского, с ними он действительно мгновенно сходилась, их глубоко уважал, и один из них, М. А. Назимов, мог бы засвидетельствовать, с каким потрясающим юмором он описывал ему, выходцу из Сибири, ничтожество того поколения, к которому принадлежал».

Когда в знаменитой своей «Думе» (1838), этой элегии-сатире на современников, Лермонтов упрекал свое поколение:

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властью — презренные рабы... —

он этим лишним людям внутренне противопоставлял декабристов, которые сумели быть не рабами «перед властью».

Свою горькую «Думу» о своем поколении, во всей ее полноте и глубине, Лермонтов выразил в романе «Герой нашего времени», где он, изображая Печорина, писал, по его собственным словам, «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии».

Этот роман был задуман и материал для него собран на Кавказе. Начав свое повествование о Печорине еще в Петербурге, Лермонтов оставил неоконченной повесть «Княгиня Лиговская» (1836), где рассказывается о петербургской жизни Печорина. Гениальный роман о герое своего времени Лермонтов создал, перенес действие на Кавказ.

Наконец Лермонтову было разрешено вернуться в Европейскую Россию. Он получил назначение в гвардию, в Гродненский гусарский полк стоявший в Новгороде.

«Если бы не бабушка, — признавался он С. А. Раевскому, — я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение^[17] веселее Грузии»... И тут же делился своей мечтой: «Серьезно думаю выйти в отставку».

Уезжая с Кавказа, Лермонтов с сердечной тревогой писал:

Что если я со дня изгнания
Совсем на родине забыт?
Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?

Этот привет он нашел у лучших людей своего времени, — это был привет новому народному поэту, наследнику Пушкина. Но предчувствие не обмануло Лермонтова: нашел он на севере и холодную вражду и злобу, приведшую его к новому изгнанию.

Два последних года, проведенных Лермонтовым в Петербурге, 1838–1840, были временем полного расцвета его гения. Он завершил в эти годы давние замыслы, создав новую редакцию «Демона» и написав по кавказским впечатлениям «Мцыри». Он написал и издал в эти годы «Героя нашего времени», классический образец русской художественной прозы. Он подготовил книжку своих «Стихотворений», — это драгоценное собрание алмазов и жемчужин русской лирики.

Пристально, с участием и надеждою следил за каждым стихотворением Лермонтова критик В. Г. Белинский. Прочтя «Три пальмы», он восклицал в письме Краевскому: «Боже мой! Какой роскошный талант! Право, в нем таится что-то великое», и еще тверже

повторил это П. В. Станкевичу: «На Руси явилось новое могучее дарование — Лермонтов». В 1839 году поэт А. В. Кольцов написал Белинскому: «Ах, как хороши в восьмом номере «Записок» пять русских песней! чудо как хороши, вот уж объяденье — так объяденье. Я тут подозреваю Лермонтова, чуть ли не он опять проказит, как в песне про царя Ивана». Кольцов ошибался: он прочел подлинные народные песни. Но какая высокая похвала для Лермонтова заключалась в том, что художник русской песни, необычайно чуткий к ее музыкальному ладу и поэтическому строю, впал в эту ошибку!

Этот успех у самых строгих из читателей — у лучших писателей своего времени — не ослабил, а увеличил критическую строгость Лермонтова к своим произведениям.

«По возвращении в Петербург, — вспоминает А. П. Шан-Гирей, — Лермонтов стал чаще ездить в свет, но более дружеский прием находил в доме у Карамзиных, у г-жи Смирновой и князя Одоевского. Литературная деятельность его увеличилась... Это была самая деятельная эпоха его жизни в литературном отношении. С 1839 года стал он печатать свои произведения в «Отечественных записках»; у него не было чрезмерного авторского самолюбия; он не доверял себе, слушая охотно критические замечания тех, в чьей дружбе был уверен и на чей вкус надеялся, притом не побуждался меркантильными расчетами, почему и делал строгий выбор между произведениями, которые назначал к печати».^[18]

К суровому: «Ты сам свой высший суд», которому Лермонтов следовал всегда, он прибавил теперь не менее строгий суд друзей. Лермонтов прочно вошел в круг друзей умершего Пушкина. Он бывает там, где любил бывать Пушкин: в литературном салоне Е. Л. Карамзиной, вдовы Н. М. Карамзина, автора «Истории государства Российского», у А. О. Смирновой, воспетой Пушкиным, — у нее собирались В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, П. А. Плетнев; он посещает дом князя В. Ф. Одоевского, писателя-мыслителя, в ученом и литературном кабинете которого можно было встретить М. И. Глинку знаменитых исследователей, начинающих поэтов, дипломатов, заезжих путешественников и итальянских певцов.

В 1838 году Лермонтов поставил точку под эпилогом «Демона».

Он закончил в «Демоне» и свою давнюю философскую исповедь и поэтическую автобиографию. В монологах и признаниях мятежно-тоскующего героя поэмы запечатлелись томления и искания самого поэта, а в истории любви Демона и Тамары отобразилась, вплоть до печального эпилога, собственная любовь Лермонтова к В. А. Лопухиной — любовь, которой не суждено было дать ему ни счастья, ни успокоения.

Герой поэмы зовет Тамару «в надзвездные края», в свободно-прекрасный край:

Без сожаленья, без участия
Смотреть на землю станешь ты.
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты.
Где преступленья лишь да казни.
Где страсти мелкой только жить.
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить...

В картине этой ненавидимой Демоном рабской жизни Лермонтов обобщает не только унылую действительность николаевской России 30-х годов, — он обобщает в этой горько-печальной картине и тот «европейский мир» (выражение самого Лермонтова), который дремал после бурь французской революции и наполеоновских войн в тишине реакционного застоя.

Демон не сулит своей подруге безмятежного счастья в той новой стране, куда манит и зовет ее, как на свою новую родину:

Тебя иное ждет страданье,
Иных восторгов глубина;
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:
Пучину гордого познания
Взамен открою я тебе.

Истинное бытие, — так утверждает Лермонтов устами Демона, — истинною бытие, достойное человека, возможно только в стране «познания и свободы», которой еще нет нигде на земле. Лишь в этой стране будущего станет возможно высшее из наслаждений — наслаждение «всей властью бессмертной мысли и мечты».

«Демон» написан изумительными стихами. Но яркости красок, по «роскоши картин», по богатству «поэтического воодушевления» (выражения В. Г. Белинского) стихи «Демона» превзошел только сам Лермонтов в «Мцыри» — и никто другой из последующих поэтов. Из этих

превосходных стихов восставал могучий, гордый и сумрачный образ, захвативший своими чувствами, мыслями, устремлениями и страданиями все поколение Лермонтова.

Осенью 1838 года Лермонтов вынес «Демона» из своего кабинета. Он читал его сам и давал читать в рукописи некоторым из друзей, в их числе В. А. Жуковскому. Напечатать «Демона» в условиях цензуры 1830–1840 годов было невозможно. Полностью он был напечатан только за границей в 1856 году. Но поэма Лермонтова до такой степени была близка по своим мыслям и чувствам лучшим из современников поэта, что тотчас же разошлась во множестве списков. Через полтора года Белинский печатно засвидетельствовал, что «Демон» в рукописи ходит в публике, как некогда ходило «Горе от ума».

Белинский переписал для себя «Демона» и собирал его списки. Писателю В. П. Боткину Белинский говорил: «Демон» сделался фактом моей жизни, я твержу его другим, твержу себе, в нем для меня — миры истин, чувств, красот. Я его столько раз читал — и слушатели были так довольны».

А Боткин так объяснял Белинскому, почему он и все его поколение, включая Герцена и Огарева, увлечены Лермонтовым и его «Демоном»: «Пафос его есть «с небом гордая вражда». Другими словами, отрицание духа и мирозерцания, выработанного средними веками, или, другими словами, пребывающего общественного устройства. Дух анализа, сомненья и отрицанья, составляющий характер современного движения, есть не что иное, как тот диавол, демон — образ, в котором религиозное чувство воплотило различных врагов своей непосредственности. Фантазия Лермонтова с любовью лелеяла этот могучий образ. Лермонтов смело взглянул ему прямо в глаза, сдружился с ним и сделал его царем своей фантазии».

«Царь фантазии» Лермонтова занял высокое место среди «царей фантазии» мировых поэтов Мильтона, Гёте, Байрона, Т. Мура, А. де-Виньи — среди созданных ими образов Сатаны, Мефистофеля, Элоа и других мятежников отрицания и мучеников сомнения.

Лермонтов в 1839 году начал стихотворную повесть, озаглавленную издателями «Сказка для детей». «Мефистофель» этой повести так же «пролетал над сонною столицей», как Демон над Кавказом, и видел

Преступный сон под сению палат.
Корыстный труд под тощею лампадой,
И страшных тайн везде печальный ряд...

Но в царской столице Мефистофель находит душу, достойную внимания «духа познания и свободы». Лермонтов намечал в образе Нины девушку с гордым, сильным характером. «Я сам ведь был немножко в этом роде», говорит про нее Мефистофель. Лермонтов оборвал свою безымянную повесть, которую Гоголь считал лучшим из его произведений в стихах, — и остается неизвестным, к чему привела встреча Мефистофеля с русской девушкой, которая была

Из тех, которым рано все понятно,
Для мук и счастья, для добра и зла
В них пищи много...

Одновременно с этой повестью, в том же 1839 году Лермонтов работал над большим романом в стихах — «Сашка». В нем Лермонтов замыслил дать своеобразную историю своего современника. В первой главе (она одна занимает 1641 стих — больше, чем любая из поэм Лермонтова, кроме «Измаила-бея») он успел коснуться только детства и студенческих лет своего «Сашки». В эту главу, исполненную высокого вдохновения и вместе тончайшего внимания к жизни, Лермонтов вложил так много собственных заветных стремлений и наблюдений над жизнью и людьми, что многие ее страницы — это поэтические записки Лермонтова. Ни одно из своих художественных произведений Лермонтов не писал с такой откровенностью, с таким обнажением самых заветных своих чувств и мыслей: он писал «Сашку» без всякой мысли о печатане! без малейшей оглядки на цензуру. Но в то же время поэт писал в нем не собственный портрет, а делал первый эскиз углубленного реалистического портрета современника — молодого человека 30-х годов из дворянской среды.

Сашка одарен богатыми качествами ума и сердца, в нем таится много возможностей для его незаурядной воли и пылкой натуры. Но какой жизненный удел сужден Сашке?

Уже с первой главы романа Лермонтов обсуждает это.

Он набрасывает романтически увлекательный, смелый и сильный образ вольного «сына степей» образ, знакомый нам по кавказским поэмам.

Блажен!.. Его душа всегда полна
Поэзией природы, звуков чистых:

Он не успеет вычерпать до дна
Сосуд надежд; в его кудрях волнистых
Не выглянет до время седина;
Он, в двадцать лет желающий чего-то,
Не будет вечной одержим зевотой,
И в тридцать лет не кинет край родной
С больною грудью и больной душой,
И не решится от одной лишь скука
Писать стихи, марать в чернилах руки, —
Или, трудясь, как глупая овца,
В рядах дворянства, с рабским униженьем,
Прикрыв мундиром сердце подлеца, —
Искать чинов, мирясь с людским презреньем,
И поклоняться немцам до конца...

Итак, есть два пути для представителей класса, откуда вышел Сашка: или «торная дорога» приспособленчества к самодержавно-чиновничьему строю, или узкая, одинокая тропа «лишних людей», не желающих стать смиренными овцами, но в то же время не находящих в себе воли и сил на борьбу с реакционным режимом. Но себе Лермонтов не хотел ни того, ни другого жребия. «От одной лишь скуки писать стихи», изнывая в собственном бессилии, певец «Демона» и «Купца Калашникова» так же мало хотел, как по-рабьи унижаться «в рядах дворянства». В Лермонтове никогда не слабела воля к борьбе, и он вел эту борьбу своим «железным стихом»: как человек, как гражданин и поэт, Лермонтов до конца сдержал клятву, которую дал «товарищу светлому и холодному» — своему кинжалу:

Да, я не изменюсь и буду тверд душой.
Как ты, как ты, мой друг железный!

Лермонтов остался недоволен своим опытом «истории своего современника» в стихах: он оборвал «Сашку» в начале второй главы.

Но в том же самом году, в 1830, появились «Бэла» и «Фаталист», отдельные повести из романа «Герой нашего времени».

Этот роман, по собственному определению Лермонтова, «история души» человека, по горению мысли, по кипению чувств, по устремлению воли, типичного для русского общества данной эпохи.

«История души» Печорина написана Лермонтовым с предельным реализмом. Иногда это зоркая и точная запись переживаний в дневнике и записках самого героя Печорина. Но в отличие от многих других «историй души» и «исповедей сынов века», писанных в ту эпоху, Лермонтов в том же романе применяет и другой способ познания своего современника: в двух повестях, входящих в состав романа:

«Бэла» и «Максим Максимыч», сам Печорин становится предметом наблюдений со стороны людей иного психологического склада и жизненного положения.

Все эти сложные строго реалистические приемы построения повествования о Печорине нужны были Лермонтову для того, чтобы дать в своем романе не частную автобиографию одного из людей 30-х годов, а обобщенную объективную историю современника.

И Лермонтову удалось это вполне.

В «Герое нашего времени» он остается таким же чудесным поэтом, как в своих лирических стихотворениях. На страницах его романа такие же вдохновенные картины природы, такие же поэтические образы, как в его поэмах. Но поэзия у Лермонтова всегда неразлучна с философской мыслью и жизненной правдой; в свой роман он вложил много «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет...»

«Я чувствую в душе моей силы необъятные», записывает Печорин в своем дневнике перед дуэлью. Печорин много и глубоко мыслит. И он знает, что мысль уже должна быть зародышем действия. «Тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара».

Но со всей волей своей, порывающейся к действию, со своим складом ума, который самую мысль рассматривает, как зерно действия, Печорин принужден жить в эпоху, когда мысль обречена была на безмолвие, а свободное действие творящей воли рассматривалось, как проявление непокорности властям. И Печорин переживает глубокую трагедию безвыходного одиночества, томясь в вынужденной бездейственности.

Чувствуя в себе «силы необъятные» и не зная им выхода в жизнь в достойном их действии, Лермонтов устами «героя» своего «времени» с ужасом спрашивает: «Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?»

Лермонтов не оправдывает Печорина, он судит и его. В уста Печорина

он вкладывает упрек современникам в том, что они «равнодушно переходят от сомнения к сомнению», в том, что скитаются «по земле без убеждений и гордости», в том, что они «не знают наслаждения... в борьбе с людьми или с судьбою».

Скептический Печорин с горечью высказывает эти упреки, понимая, что они относятся и к нему самому.

Но ведь это те же обвинения, которые высказал Лермонтов в знаменитой «Думе» (1838), начинающейся признанием: «Печально я гляжу на наше поколение». Из этих обвинений (и самообвинений) Печорина особенно важно одно: «Мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья». В «Думе» этому соответствует:

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властью — презренные рабы.

Под «великими жертвами для блага человечества» вряд ли возможно разуместь что-нибудь иное, кроме участия в политической и социальной борьбе за лучшее будущее своей страны и человечества; только при этом понимании приобретает полный смысл гневный укор, сделанный Лермонтовым своему поколению в «Думе», — укор в равнодушии к добру и злу, в рабстве перед властью, в малодушии перед опасностью.

«Дума» Лермонтова появилась в январской книжке «Отечественных записок»; она произвела сильнейшее впечатление на читателей. Белинский нашел «Думу» «чудно-поэтической, исполненной благородного негодования, могучей жизни и поразительной верности идей». Под нею впервые — после безыменных «Песни о Калашникове» и «Казначейши» — подписано было имя Лермонтова. «Дума» явилась как бы лирическим прологом к «Герою нашего времени»; первая повесть из этого романа — «Бэла» — появилась в мартовской книжке того же журнала вместе со стихотворением «Поэт», в котором Лермонтов с такой прямоотой и силой выразил свой взгляд на поэта, как на борца за правду и свободу.

Когда появилась «Бэла», стало ясно, что Печорин — это один из тех, к кому обратил поэт свою горькую «Думу»:

И ненавидим мы и любим мы случайно,

Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

Было ясно и то, что в России явился великий писатель-реалист, с небывалой зоркостью всматривающийся в душу своих современников и исключительной смелостью способный вскрывать недуги современности.

Белинский, с обычной чуткостью к великим явлениям в русской литературе, уже отмечал в журнале «Московский наблюдатель»: «...рассказ Лермонтова, молодого поэта с необыкновенным талантом. Здесь и первый еще раз является Лермонтов с прозаическим опытом, и этот опыт достоин его высокого классического дарования. Простота и безыскусственность этого рассказа невыразима, и каждое слово в нем так на своем месте, как богато значением».

Когда же в 1840 году роман Лермонтова «Герой нашего времени» вышел в отдельном издании, он возбудил настоящее удивление во всех, кому дорого было русское слово.

В июне 1840 года С. Т. Аксаков, автор «Семейной хроники», писал Н. В. Гоголю: «Я прочел Лермонтова «Герой нашего времени» в связи и нахожу в нем большое достоинство. Живо помню слова ваши, что Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца». Через шесть лет Гоголь печатно повторил свой отзыв, данный С. Т. Аксакову изустно: «Никто еще не писал у нас такую правильную и благоуханную прозою», — никто: стало быть, ни Пушкин, ни сам Гоголь.

Декабрист В. К. Кюхельбекер, прочтя только статью Белинского о «Герое нашего времени» и не читав еще романа, писал в своем сибирском дневнике: «Роман... обличает... огромное дарование. Итак, матушка Россия, поздравляю тебя с человеком». Это писано еще при жизни Лермонтова, а через два года, прочтя самый роман, ссыльный декабрист, друг Пушкина, сохранил то же впечатление: «Лермонтова роман — создание мощной души».

В 1841 году, еще при жизни Лермонтова, появилось второе издание «Героя нашего времени», а в 1843 году последовало третье. Напутствуя это посмертное издание, Белинский писал: «Мы не будем хвалить этой книжки; похвалы для нее так же бесполезны, как безопасна брань. Никто и ничто не помешает ее ходу — и расходу — пока не разойдется она до последнего экземпляра; тогда она выйдет четвертым изданием, и так будет продолжаться до тех пор, пока русские будут говорить русским языком».

Окончив в начале 1840 года «Героя нашего времени», Лермонтов в это же время (таков был подъем его «вдохновенного труда!») завершил и «Мцыри» — поэму о мятежнике, пробными очерками которой были «Исповедь» (1830) и «Боярин Орша» (1835).

Юноша-горец, насильственно отторгнутый от родных гор и воспитанный в монастыре, рвется из келий душных, как из тюрьмы:

...я цель одну
Пройти в родимую страну
Имел в душе.

Но родина означает для Мцыри не просто страну, где он родился, — родина означает для него независимый край, свободный народ, отстаивающий свою независимость. Мцыри совершает побег для того, чтобы стать в ряды бойцов за народную волю: не спокойная доля, а «чудный мир тревог и битв» влечет его.

По всему содержанию, по чувствам и мыслям, по краскам и звукам «Мцыри» — единый, неудержимый порыв к свободе и борьбе за нее. Лермонтов словно влил пламя мятежа в самый ритм поэмы, он будто перелил расплавленный металл неукротимой жажды воли в тот стальной стих, из которого выкована поэма.

«Мне случалось однажды в Царском Селе, — вспоминал писатель А. Н. Муравьев, — уловить лучшую минуту его вдохновения. В летний вечер я к нему зашел и застал его за письменным столом с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобою?» спросил я. «Сядьте и слушайте», сказал он и в ту же минуту, в порыве восторга, прочел мне от начала до конца поэму «Мцыри» (послушник по-грузински), которая только что вылилась из-под его вдохновенного пера...»^[19]

«Мцыри» — это не только героическая поэма о свободолюбивом горце, рвущемся в бой за волю и честь родины, «Мцыри» — это героическая автобиография одного из самых свободных и могучих поэтов в мире,

Я знал одной лишь думы власть —
Одну, но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.

В этих словах Мцыри — признание самого Лермонтова в единой страсти, действительно одушевлявшей его душу, вдохновлявшей его мысли, двигавшей его волей: «пламенной страсти» — любви к свободе и ненависти к ее врагам.

Легко ли было Лермонтову, с этой единой страстью в душе, жить и творить в суровой и душной николаевской столице, про которую однажды Пушкин сказал с горечью:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный.
Скука, холод и гранит.

Между содержанием мысли Лермонтова, между всем устремлением его поэзии и этим «духом неволи» было разительное, неустранимое противоречие, которое должно было привести к роковым для поэта последствиям.

Внешне как будто все было благополучно. Недолго прослужив в Новгороде, Лермонтов был переведен в Петербург в свой прежний лейб-гвардии гусарский полк и даже получил следующий чин.

То самое общество, в котором еще недавно томился Пушкин, теперь оказывало знаки особого внимания Лермонтову.

«Я пустился в большой свет, — пишет он М. А. Лопухиной. — В течение месяца на меня была мода, меня наперерыв отбивали друг у друга. Это, по крайней мере, откровенно. Весь этот народ, которому доставалось от меня в моих стихах, старается осыпать меня лестью. Самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихов и хвастаются ими, как триумфом... Было время, когда я, в качестве новичка искал доступа в это общество... Теперь в это же самое общество я вхожу уже не как искатель, а как человек, добившийся своих прав. Я возбуждаю любопытство, предо мной заискивают, меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу

этого; дамы, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них, потому что я ведь тоже лев, да! я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы... Мало-помалу я начинаю находить все это несносным».

Лермонтов предчувствовал, чем окончится этот его успех в среде баронесс и Звездичей, едко изображенных им в «Маскараде»: он не сомневался, что истинным отношением к нему этого общества может быть только злоба и вражда. В том же письме к старому другу он писал: «Эта новая (то есть светская. — С. Д.) опытность полезна в том отношении, что дала мне оружие против общества: если оно будет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), у меня будет средство отомстить; нигде ведь нет столько пошлого и смешного, как там».

Это «пошрое и смешное» он уже изобразил в «Маскараде», в «Княгине Лиговской», в «Сашке», остро коснулся его в «Герое нашего времени» (светское общество на водах) и беспощадно преследовал это «пошрое и смешное» в эпиграммах. Этих лермонтовских эпиграмм боялись, за них Лермонтова не любили, а иные и ненавидели. Эта нелюбовь к Лермонтову, плохо утаенная ненависть к нему сквозят во многих воспоминаниях о нем, вышедших из светского круга или от людей, связанных с ним.

Мне довелось недолго знать, в глубокой ее старости, Варвару Дмитриевну Арнольди (урожденную Свербееву); она была замужем за Львом Ивановичем Арнольди, единоутробным братом знаменитой А. О. Россет (Смирновой), воспетой Жуковским, Пушкиным и Лермонтовым. Л. И. Арнольди был приятель Лермонтова. Когда я, при первой же встрече с его вдовой, с восторженной завистью воскликнул: «Сколько, наверное, Лев Иванович рассказывал вам про Лермонтова!» — старушка, только что оживленно рассказывавшая мне про Гоголя, суховато ответила:

— А что про него рассказывать? Он писал превосходные стихи; но характеру был неприятного.

Меня поразила тогда устойчивость этого неблагоприятного впечатления, вынесенного от Лермонтова в далекие, стародавние годы. В дворянских кругах Москвы и Петербурга (придворных, светских, военных и т. д.), в которых вращался Лермонтов, оно было едва ли не всеобщим. Это неблагоприятное, а то и резко отрицательное впечатление, которое производил Лермонтов в светском кругу, не было секретом от него самого. Еще в юности он записал в свой дневник:

Я холоден и горд, и даже злым
Толпе кажуся.

И тут же дает он разгадку, почему он кажется толпе «злым»:

...неужель она
Проникнуть дерзко в сердце мне должна?
Зачем ей знать, что в нем заключено?
Огонь иль сумрак там — ей все равно.

Своей открытой «холодностью», своей подчеркнутой «гордостью» Лермонтов охранял от «толпы» — от светской черни — все, что было «заключено» в его сердце, — и «огонь» его высоких вдохновений, и «сумрак» его русской грусти и мировой скорби.

И. С. Тургенев оставил нам рассказ о двух встречах с Лермонтовым. Одна была в конце 1839 года, в светской гостиной, другая — в маскараде в Благородном собрании, под новый, 1840 год.

В гостиной Лермонтов «поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц — белокурая графиня Мусина-Пушкина — рано погибшее, действительно прелестное создание! На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток — и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш — у, тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ... Помнится, граф Ш. и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго. Лермонтов также засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и графа Ш. он любил как товарища и к графине питал чувство дружелюбное... Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко: он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба».

Эта встреча со светским Лермонтовым произошла в то время, когда поэт Лермонтов уже делал признание:

И скучно и грустно! — и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды...
Желанья... что пользы напрасно и вечно желать?
А годы проходят — все лучшие годы!

Эту скуку неосуществленных, напрасных желаний, эту грусть по бесплодно уходящим лучшим годам разделяли с Лермонтовым сам Тургенев, Белинский, Герцен, Огарев и все лучшие люди их времени, которые не мирились с позорной действительностью крепостного благополучия и полицейской благонамеренности, тоскуя по лучшему укладу жизни.

«На бале Дворянского собрания, — говорит Тургенев о второй встрече своей с Лермонтовым, — ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих,
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки... и т. д.»

Тургенев упоминает о чудесных строфах — тех, которые печатаются в собраниях сочинений Лермонтова с пометой: «1-ое января». В сущности, это страница из лирического дневника Лермонтова. Но страница эта — «чистейшей прелести чистейший образец» русской лирики — лучше всяких рассуждений показывает: чем светлей, чище и выше был внутренний мир Лермонтова, не доступный толпе, тем беспощаднее и острее был его «железный стих», дерзко обдававший эту толпу «горечью и злостью». И тем меньше, конечно, эта толпа, включавшая в себе и лиц из личного окружения Николая I, склонна была сносить и прощать поэту эту «горечь и злость» его стихов.

Современник Лермонтова князь А. И. Васильчиков так вспоминает ту светско-военную среду, в которой приходилось жить Лермонтову в Петербурге: «Парад и разводы для военных, придворные балы и выходы для кавалеров и дам, награды в торжественные сроки праздников 6 декабря (именины Николая I. — С. Л.), в Новый год и на Пасху, производство в

гвардейских полках и пожалованье девиц в фрейлины, а молодых людей в камер-юнкеры, — вот и все, решительно все, чем интересовалось это общество, представителями коего были не Лермонтов и Пушкин, а молодцеватые Скалозубы и всепокорные Молчалины. Лермонтов и те немногие из его сверстников и единомышленников, которых рождение обрекло на прозябание в этой холодной среде, сознавали глубоко ее пустоту».^[20]

В чем состоит истинная воинская доблесть, подлинная военная дисциплина, — этого ли не знал Лермонтов, автор «Бородин», сам видевший на Кавказе достопамятные примеры этой доблести и образцы суровой дисциплины? Но не о доблести заботился на петербургских «разводах» «генерал-фельдцейхмейстер» великий князь Михаил Павлович, жестокий герой парадов, сам лично благоразумно избегавший участия в войнах.

Кружок офицеров, сколько-нибудь близких к Лермонтову, возбуждал подозрения со стороны Михаила Павловича: все малейшие признаки независимости мысли и человеческого достоинства, примеченные в гвардейском полку, великий князь «приписывал подговорам товарищей со стороны Лермонтова со Столыпинам и говорил, что «разорит это гнездо», то есть уничтожит сходки в доме, где они жили. Влияния их действительно нельзя было отрицать».^[21]

К счастью, Михаил Павлович из узнал о существовании другого «гнезда», которое признал бы еще более зловредным. В этом кружке, известном под именем «Кружка шестнадцати», в зиму 1839/40 года бывал Лермонтов. По словам участника кружка, К. Браницкого, «это общество составилось частью из окончивших университет, частью из кавказских офицеров. Каждую ночь, возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Там, после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали, с полнейшею непринужденностью и свободой, как будто бы III отделение собственной его императорского величества канцелярии^[22] и не существовало, — до того они были уверены в скромности всех членов общества».^[23]

Лермонтов мечтал об отставке. Он писал М. А. Лопухиной:

«Меня преследуют все эти милые родственники: не хотят, чтобы я бросил службу... Я порядочно упал духом и хотел бы как можно скорее бросить Петербург и уехать куда бы то ни было, в полк ли или хоть к чорту».

В светских салонах и на парадах Лермонтов не без горести вспоминал об оставленном Кавказе. Как Пушкин — в деревню, Лермонтов рвался вон из Петербурга — в Москву, на Кавказ. «Я три раза зимой просился в отпуск в Москву к вам хоть на 14 дней — не пустили!», писал он в марте 1839 года А. А. Лопухину. Настоящее, худо скрытое отчаяние звучит в письме Лермонтова к М. А. Лопухиной: «Просил отпуск на полгода — отказали, на 23 дней — отказали, на 14 дней — великий князь и тут отказал... Просился на Кавказ — отказали, не хотят даже, чтобы меня убили...»

16 февраля на бале у графини Лаваль у Лермонтова произошло столкновение с сыном французского посла Эрнестом Барантом, окончившееся дуэлью.

Вот как было дело, по словам самого Лермонтова в письме к командиру гусарского полка, в котором он служил:

«Господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного; я отвечал, что все ему переданное несправедливо, но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его ответ я возразил такую же колкостью, на что он сказал, что если б находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело; тогда я отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Он меня вызвал, мы условились и расстались. 18-го числа, в воскресенье, в 12 часов утра, съехались мы за Черною речкой на Парголовской дороге... Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он слегка оцарапал мне грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись».

Лермонтов был противником дуэлей и, хотя, как офицер, следовал обычаю, принятому в военной среде, но сознательно устранился от роли убийцы: сперва произошел у него странный промах со шпагой, а потом, великолепный стрелок, он «немного опоздал» стрелять в противника, а на его выстрел отвечал выстрелом в сторону.

В своем объяснении командиру полка Лермонтов умолчал о содержании первоначального разговора с Барантом, приведшего к поединку. Предание, идущее от современников, говорит, что предметом объяснения между Лермонтовым и Барантом была княгиня М. А. Щербатова, которая дарила поэта большим вниманием, чем сына

французского дипломата. Ей посвятил поэт стихотворение:

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украины она променяла,
Но неба родного
На ней сохранились приметы
Среди ледяного.
Среди беспощадного света.

Но есть данные» что объяснение между Лермонтовым и Барантом имело еще и другой предмет — особенно дорогой для Лермонтова: имя и честь Пушкина.

Французское посольство давало едва ли не самые блестящие приемы и балы в целом Петербурге. Когда Лермонтов явился в Петербург с Кавказа, на него, по его словам, «была мода»; этой «моде» желал следовать и французский посол. Но в посольстве знали что «модный» Лермонтов два года назад с гневными стихами выступил против француза Дантеса, убийцы Пушкина, благополучно удалившегося во Францию после своего преступления, и сомневались, может ли Лермонтов быть гостем французского посольства. Один из членов посольства запрашивал друга Пушкина, А. И. Тургенева., «правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина, что Барант желал бы знать правду?» В конце концов «Барант позвал на бал Лермонтова, убедившись, что он не думал поносить французскую нацию»^[24].

Но если в этом убедился французский посол Барант, то его сын Эрнест держался, по-видимому, таких представлений о Пушкине, какие не далеко ушли от презренных мнений его убийцы Дантеса. Офицеру Горожанскому, дежурившему на военной гауптвахте, куда был посажен Лермонтов за дуэль с Барантом, поэт с негодованием говорил, рассказывая о своем разговоре с Барантом: «Je deteste ces chercheurs d'aventures» («Я ненавижу этих искателей приключений») — эти Дантесы и де-Баранты заносчивые сукины дети».^[25] Близко знавшая Лермонтова, поэтесса графиня Е. П. Ростопчина решительно свидетельствует: «Спор о смерти Пушкина был причиной столкновения между ним и г. де-Барантом, сыном французского посланника...».^[26]

Так уже второй раз в жизни — то железным стихом, то собственной кровью (он был ранен в руку) Лермонтов защищал честь Пушкина.

И светское общество оказалось верно себе: как после дуэли Пушкина оно осаждало голландское посольство, выражая сочувствие послу Геккерну и его приемному сыну Дантесу, в то время как Пушкин умирал от раны, — так теперь то же общество осаждало французское посольство, спеша выразить свое сочувствие послу Баранту и его сыну, ранившему другого русского поэта, в то время как этот поэт, преданный военному суду, сидел в ордонанс-гаузе.

Шеф Жандармов граф Бенкендорф, один из тех, кого Лермонтов казнил в стихах на смерть Пушкина, счел долгом стать на защиту чести Эрнеста Баранта. «Граф Бенкендорф, — пишет Лермонтов великому князю Михаилу Павловичу, — предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извиненья в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил в воздух. Я не мог на то согласиться... Ибо, сказав, что выстрелил на воздух, я сказал истину».

Сидя на гауптвахте в ожидании приговора военного суда, Лермонтов написал стихотворения: «Есть речи — значенье», «Соседка», «Пленный рыцарь».

Там, на гауптвахте, посетил его В. Г. Белинский.

Впервые Белинский встретился с Лермонтовым еще летом 1837 года, в Пятигорске, у Сатина, друга Герцена. Но Лермонтов уклонился тогда от сближения с Белинским: как вспоминает Сатин, «на серьезные мнения Белинского он начал отвечать разными шуточками»^[27]. В 1838–1839 годах Белинский встречался с Лермонтовым в редакции «Отечественных записок» и пробовал не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всякий раз отделялся шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение.

«Сомневаться в том, что Лермонтов умен, — говорил Белинский, — было бы довольно странно, но я ни разу не слышал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пустотою»^[28].

Белинский не знал, что эта мнимая «светская пустота» была защитным цветом, в который Лермонтов привык окрашивать себя, обороняясь от «бессмертной пошлости людской», преследовавшей его с первых дней юности.

Свидание в ордонанс-гаузе наконец показало Белинскому истинного Лермонтова.

«В первый раз я видел этого человека настоящим человеком, — с восторгом рассказывал великий критик И. И. Панаеву тотчас после свидания с Лермонтовым. — Я вошел к нему и сконфузился по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких. Что еще связывает нас немного, так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры... Я, признаюсь, досадовал на себя и решил пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе... Я смотрел на него и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою. В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть...Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете, а ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хоть на минуту быть самим собою!..»^[29]

После четырехчасовой беседы с Лермонтовым Белинский писал В. П. Боткину:

«Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!.. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит «Онегина...» Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему, он улыбнулся и сказал: «дай бог!»...Каждое его слово — он сам, вся его натура во всей глубине и целостности своей...

Я с ним робок — меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ним благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества... Суд над ним кончен и пошел на конфирмацию к царю. Вероятно, переведут молодца в армию. В таком случае хочет проситься на Кавказ, где готовится какая-то важная экспедиция против черкес. Эта русская разудалая голова так и рвется на нож. Большой свет ему надоел, давит его... Так он и рад, что этот случай отрывает его от Питера»^[30].

После свидания с Белинским Лермонтов написал большое стихотворение «Журналист, писатель и читатель», в котором выразил свой взгляд на высокие задачи писателя и приподнял завесу, скрывавшую муки и радости своего собственного творчества.

12 апреля 1840 года военный суд приговорил, «лишив его, Лермонтова, чинов и дворянства, записать в рядовые», но, «принимая в уважение, во-первых, причины, вынудившие подсудимого принять вызов на дуэль, на которую вышел не по одному личному неудовольствию с бароном де-Барантом, но более из желания поддержать честь русского офицера», и признавая, что Лермонтов «выстрелил в сторону, в явное доказательство, что он не жаждал крови противника», — суд ходатайствовал перед Николаем I о смягчении наказания Лермонтову.

Через день Николай I положил резолюцию: «Поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином».

Этот приговор означал, во-первых, новую ссылку на Кавказ, где Тенгинский полк участвовал в войне против горцев; во-вторых, понижение по службе: гвардейские офицеры, зачисленные в армейские полки, переходили туда с повышением на два чина: Лермонтов же, переводимый «тем же чином», тем самым превращался из поручика в подпрапорщика.

Николай I питал к Лермонтову чувство открытой неприязни. Ссылая Лермонтова на Кавказ, Николай I учинял расправу не только с непокорным офицером, но с ненавистным писателем. 12 июня 1840 года Николай I писал своей жене, императрице Александре Федоровне: «Я прочел «Героя» до конца и нахожу вторую часть («Княжна Мэри» и «Фаталист». — С. Д.) отвратительной, вполне достойной быть в моде. Это — то же преувеличенное изображение презренных характеров, которые находим в нынешних иностранных романах. Такие романы портят нравы и портят характер... Итак, повторяю, что, по моему убеждению, эта жалкая книга показывает большую испорченность автора...» Свой «критический отзыв» о «Герое нашего времени», точь-в-точь похожий на отзывы реакционных писак и благонамеренных Скалозубов и Молчалиных, Николай I заключил издевательским напутствием автору гениального романа, посылаемому под пули горцев:

«Счастливого пути, господин Лермонтов! Пусть он очистит свою голову, если это возможно, в сфере, в которой он найдет людей, чтобы дорисовать до конца характер своего капитана (Максима Максимовича. — С. Д.), если только предположить, что он вообще способен его схватить и обрисовать».

Желание Лермонтова покинуть Петербург для Кавказа сбылось, но как? Он вновь отправлялся туда изгнанником!

«Друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных проститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе и непритворной любовью избранного кружка, поэт, стоя в окне и глядя на

тучи, которые ползли над Летним садом и Невою, написал стихотворение:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажны от слез. Поэт двинулся в путь прямо от Карамзиных. Тройка, увозившая его, подъехала к подъезду их дома»^[31].

Пьесой «Тучи» поэт закончил первое, единственное им самим подготовленное издание своих стихотворений, вышедшее во второй половине 1840 года, когда он был уже на Кавказе.

По дороге туда Лермонтов остановился в Москве.

Там он провел несколько дней в кругу писателей во главе с Гоголем, группировавшихся вокруг журнала М. И. Погодина «Москвитянин», и, как свидетельствует один из них, Ю. Ф. Самарин, «сделал на всех самое приятное впечатление»^[32]. «Это чрезвычайно артистическая натура, неуловимая и неподдающаяся никакому внешнему влиянию».^[33]

На именинах Гоголя, 9 мая 1840 года, в присутствии князя И. Л. Вяземского, М. Н. Загоскина, А. С. Хомякова, Ю. Ф. Самарина, К. С. Аксакова, М. И. Погодина, декабриста М. Ф. Орлова и других Лермонтов прочел «Мцыри».

Поэма вызвала общее одобрение. Веря суду Гоголя и его друзей, Лермонтов решил включить «Мцыри» в подготовленную им к печати книжку стихов. Мечта всецело отдаться литературной деятельности охватила Лермонтова. «Ах, если б мне позволено было оставить службу, — сказал он Ф. Ф. Вигелю, — с каким бы удовольствием поселился бы я здесь навсегда!»^[34]

Всю жизнь он любил сердце России: Москву.

Но он должен был ехать в ссылку.

Старые и новые московские друзья устроили для Лермонтова прощальный вечер у поэтессы Каролины Павловой. Лермонтов «уехал грустный. Ночь была сырая. Мы простились на крыльце».

Так описал эти проводы Ю. Ф. Самарин в своем дневнике. А. С.

Хомяков, поэт и мыслитель, с которым сблизился Лермонтов за эти московские дни, с грустным предчувствием писал поэту Н. М. Языкову, другу Пушкина и Гоголя:

«Жалко: Лермонтов отправлен на Кавказ за дуэль. Боюсь, не убили бы. Ведь пуля — дура, а он с истинным талантом и как поэт, и как прозатор».

На Кавказе Лермонтов попал в суровую боевую обстановку затяжной войны, длившейся уже четвертое десятилетие.

Лермонтов давно, еще с детских лет, следил за этой борьбой, и как в юные годы, так и в ту пору, когда ему пришлось на Кавказе обратить оружие против горцев, он умел отдавать им должное.

Самая обширная из юношеских поэм Лермонтова, «Измаил-бей» (1832), развертывает широкую картину этой борьбы.

Как я любил, Кавказ мой величавый,
Твоих сынов воинственные нравы,
.....
И дики тех ущелий племена.
Их бог — свобода, их закон — война;
.....
Там поразить врага не преступленье;
Верна там дружба, но вернее мщенье;
Там за добро — добро, и кровь — за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь.

Герой поэмы Лермонтова Измаил-бей — черкес, воспитанный в России, вступивший в русскую армию, а затем вернувшийся в родные горы и поднявший оружие против русских, — долгие годы считался вымышленным персонажем, сочиненным по романтическому шаблону байроновских «людей рока». На деле оказалось, что лермонтовский Измаил-бей действительно существовал: это был кабардинец Исмел Хатокшоко (у русских он был известен под именем Измаил Атажукин). Он воспет кабардинскими народными певцами под именем Исмел-Псыго, что значит Измаил — стройный, красавец.^[35]

Лермонтов сохранил за своим Измаил-беем героический ореол этого кабардинского Исмаил-Псыго, но изобразил его историческим неудачником и, рисуя героическую картину борьбы горцев за независимость, тем не менее считал борьбу их обреченной на историческую неудачу:

Какие степи, горы и моря
Оружью славян сопротивлялись?

В кавказской войне, где мужество и стойкость, отвага и храбрость были обычным явлением для обеих воюющих сторон, Лермонтов проявил столь высокое мужество, такую лихую отвагу, такое стойкое прозрение к опасности и смерти, что вызвал самые сочувственные отзывы даже в официальных реляциях.

За полгода (июнь — ноябрь 1840 года) Лермонтову привелось участвовать в двух военных экспедициях в Чечню, на левом фланге кавказской линии.

Сам Лермонтов признавался А. А. Лопухину: «Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными».

В июле Лермонтов участвовал в отряде генерал-лейтенанта Галафеева в ряде кровопролитных дел в лесистых нагорьях по реке Сунже. Из этих дел самым крупным был бой при реке Валерике (11 июля).

О деле при Валерике Лермонтов написал в двух словах А. А. Лопухину, уже в сентябре: «Я не был нигде на месте, а шатался все время по горам с отрядом. У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2 тысячи пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел остались на месте — кажется хорошо! — вообрази себе, что в овраге, где была пехота, после дела еще пахло кровью. Когда мы увидимся, я тебе расскажу подробности очень интересные — только, бог знает, когда мы увидимся».

Лермонтов рассказал эти «подробности» не Лопухину, а всей России в своем стихотворном рассказе, озаглавленном издателями «Валерик», где с такой простотой и силой представлен и самый бой, и стойкость неприятеля, и еще большая стойкость русского солдата и офицера с их спокойным мужеством и горячей любовью к родине. Но ни в письме к Лопухину, ни в «Валерике» Лермонтов не сообщил ни одной «подробности» о том, что

делал он сам в этом кровавом бою.

А Лермонтову пришлось быть в самых жарких местах этого «довольно жаркого» дела при «речке смерти» (так звучит «Валерик» в переводе с чеченского).

Генерал-лейтенант Галафеев в своем донесении удостоверяет: «распорядительность и мужество... Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова и... прапорщика Вонлярлярского, с коим они переносили все мои приказания войскам в самом пылу сражения в лесистом месте, заслуживают особого внимания, ибо каждый куст, каждое дерево грозили всякому внезапную смертью».

Командир отдельного Кавказского корпуса генерал от инфантерии Головин испрашивал награду Лермонтову за Валерикское дело в таких живых и ярких для официального документа словах: «Во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами, но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».

Рядом с графой «наградного списка», где вписано это свидетельство о воинской доблести Лермонтова, находится графа, в которой указано, что гвардии поручик Лермонтов «высочайшим приказом переведен в сей Тенгинский пехотный полк тем же чином». Генерал Головин знал, что Лермонтов сослан Николаем I на Кавказ с понижением в чине, но храбрость и доблесть этого опального офицера в деле при Валерике были так велики, что боевой генерал счел долгом чести испрашивать ему у того же Николая награду.

Командир кавказского корпуса лишь понизил степень награды, первоначально испрашиваемой для Лермонтова генералом Галафеевым; он заменил орден Владимира 4-й степени с бантом орденом Станислава 3-й степени.

Николай I лишил Лермонтова, и этой награды, вычеркнув его имя из списка.

В конце сентября Лермонтов принял участие в осенней экспедиции того же генерала Галафеева в Чечню. Экспедиция продолжалась до конца ноября, и имя Лермонтова неизменно встречается на тех страницах донесений генерала Галафеева, где говорится о наиболее отважных делах и наиболее опасных поручениях.

«В делах 29 сентября и 3 октября, — свидетельствовал Галафеев о Лермонтове, — обратил на себя особенное внимание отрядного начальника расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством, почему и поручена ему была команда охотников. 10 октября, когда раненый юнкер Дорохов был вынесен из фронта, я поручил его начальству команду, из охотников состоящую. Невозможно было сделать выбора удачнее: всюду поручик Лермонтов везде первый подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотвержение и распорядительность выше всякой похвалы».

Пред нами не просто отважный офицер, но замечательный командир отборной команды охотников:

«На фуражировке за Шали, пользуясь плоскостью местоположения», Лермонтов «бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля и неоднократно отбивал его нападения на цепь наших стрелков и поражал неоднократно собственной рукою хищников». Это было 12 октября, а через три дня «он с командою первый прошел шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии ружейного выстрела от опушки». 23 октября, «при переходе через Гойтинский лес, он первый открыл завалы, за которыми укрепился неприятель, и, перейдя тинистую речку вправо от помянутого завала, он выбил из леса значительное скопище, покушавшееся противиться следованию нашего отряда, и гнал его в открытом месте и уничтожил большую часть хищников, не допуская их собрать своих убитых». Он был первым в опасных местах, «действуя всюду с отличною храбростью и знанием военного дела».

Лермонтову пришлось вновь сражаться и на «речке смерти» Валерике. «30 октября, — свидетельствует официальное донесение, — поручик Лермонтов явил новый опыт хладнокровного мужества, отрезав дорогу от леса сильной партии неприятельской, из которой малая часть только обязана спасением быстроте лошадей, а остальная уничтожена».

Общее заключение кавказского командования об участии Лермонтова в осенней экспедиции таково:

«Во всю экспедицию в Малой Чечне поручик Лермонтов командовал охотниками, выбранными из всей кавалерии, и командовал отлично во всех отношениях, всегда первый на коне и последний на отдыхе».

Все эти свидетельства храбрости и воинской доблести Лермонтова взяты из документа, особенно ответственного в определении степени этой храбрости и мужества: из «наградного списка» участников осенней экспедиции. Боевые заслуги Лермонтова были так бесспорны, что

кавказское начальство испрашивало ему за них «золотую саблю» с надписью «за храбрость».

«Судьба меня не очень обижает, — писал Лермонтов из крепости Грозной, еще не зная, что Николай I уже лишил его заслуженного креста за Валерик, — я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников... — это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то, авось, что-нибудь дадут».

Но Николай I был последователен в своей неприязни к автору «Смерти поэта»: он лишил Лермонтова и «золотой сабли». Царь не хуже поэта понимал, что военные отличия дали бы Лермонтову почетное право на выход из службы-ссылки, а в намерении Николая I было сделать Кавказский корпус безысходной тюрьмой для поэта.

Участвуя в походах в Чечню, Лермонтов крепко сблизился с солдатами, несшими на себе всю тяжесть двадцатипятилетней службы и непрерывной горной войны. Став во главе команды охотников, Лермонтов «умел привязать к себе людей, совершенно входя в их образ жизни. Он спал на голой земле, ел с ними из одного котла и разделял все трудности похода».^[36]

Офицеры из знати не могли понять этого боевого товарищества, спаявшего Лермонтова с его отрядом. Штабной офицер барон Россильон с презрением: отзывался об отважной команде охотников: «Лермонтов собрал какую-то шайку грязных головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия, врезывались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались громким именем Лермонтовского отряда».^[37]

Штабисты-дворяне не прощали Лермонтову его близости к простому солдату. Лермонтов же дорожил этой близостью. Она, зародившаяся и укрепившаяся перед лицом смерти, обогатила поэта новым драгоценным знанием героизма русского народа, молчаливого в своей доблести, умеющего доказывать любовь к родине не пышными словами, а самой жизнью своей. Автор «Бородине» узнал на деле русского солдата: в походе, в опасностях, в бою, и понял, что солдат, штурмующий чеченские завалы в непроходимом горном лесу и сошедшийся грудь с грудью с врагом в холодном горном потоке, — это тот же самый солдат, который при Бородине «пошел ломить стеною», о которую сокрушилась мощь величайшего полководца в мире.

В своем «Валерике» (1840) Лермонтов явился прямым предшественником и даже учителем Льва Толстого с его кавказскими и

севастопольскими рассказами. Тут та же простота повествования, та же строгая правда, по, быть может, еще большая сжатость изложения, еще большая крепость словесной формы.

Лермонтов называл «Валерика» «мой безыскусственный рассказ». Если сравнить его с письмом Лермонтова и с официальным донесением о том же сражении, то легко убедиться, что рассказ Лермонтова, действительно, «безыскусственный»: в нем ничего не присочинено, ничего не подкрашено, все верно действительности. И в то же время как несравненно показано в этом рассказе величие простоты и скромности безвестных героев, как правдиво несколькими скупыми чертами раскрыта глубина их чувств, чистота и высота их внутренней жизни!

Достаточно вспомнить один эпизод из «Валерика»:

На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат
Был на коленях; мрачно, грубо
Казалось выражение лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью... На шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал:
В груди его едва чернели
Две ранки. Кровь его чуть-чуть
Сочилась, но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал...
Спасите, братцы. Тащат в горы...
Постойте — ранен генерал...
Не слышат... — Долго он стонал.
Но все слабей, и понемногу
Затих — и душу отдал богу.
На ружья опершись, кругом
Стояли усачи седые
И тихо плакали... потом
Его останки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли...

Какая мужественная сила в этой картине! Сразу чувствуется, что этот кавказский капитан сродни тому полковнику, о котором рассказывает герой Бородин:

Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам,
Да жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

И сколько суровой нежности, безмолвной любви открыл и показал Лермонтов в сердцах солдат, окруживших умирающего капитана. Чего стоит одна только подробность: эти скупые тяжелые солдатские слезы, капающие с ресниц, покрытых пылью!

Мужественные, простые и суровые облики офицеров-кавказцев изобразил Лермонтов в штабс-капитане Максим Максимыче («Герой нашего времени») и в безымянном герое «Завещания».

А если спросит кто-нибудь...
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навyleт в грудь
Я пулей ранен был;
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря
И что родному краю
Поклон я посылаю.

Максим Максимыч — один из самых замечательных образов русской литературы. Как верно оценил его Белинский, Лермонтов воплотил тип «старого кавказского служаки, закаленного в опасностях, трудах битвах, которого лицо так же загорело и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у которого чудесная душа, золотое сердце. Это тип чисто русский... Максим Максимыч получил от природы человеческую душу, человеческое сердце, но эта душа и это сердце отлились в особую форму, которая так и говорит вам о многих годах тяжелой и трудной службы, о кровавых битвах, о затворнической и однообразной жизни в недоступных горных крепостях... Для него жить значит служить, и служить на Кавказе... Но... какое теплое, благородное, даже нежное сердце бьется в железной груди

этого, по-видимому очерстевшего человека... Он каким-то инстинктом понимает все человеческое и принимает в нем горячее участие».

И об этом прекрасном, с величайшим мастерством созданном образе, об этой драгоценной находке, открытии лермонтовского гения коронованный жандарм осмелился сказать, что образ этот «недорисован», что Лермонтов был вообще неспособен «его схватить и обрисовать!»

В 1840 году Лермонтов пишет «Казачью колыбельную песню». Эта несравненная по лирической теплоте, по своему народному складу песня про мать, растящую сына-воина на смену воину-отцу, перешла в уста народа; она с тех пор поется всюду, где слышится русская речь, и поется на один и тот же простой и трогательный мотив, по преданию, сложенный самим Лермонтовым.

Можно бы указать еще немало отражений Кавказской войны в стихах и прозе Лермонтова.

Но как ни сильно было, но его собственным словам, в его жизни и поэзии «ощущение» войны, его никогда не покидало и другое чувство, другая мысль. Ее выразил он в том же «Валерике», где так ярко показал русского человека на войне:

Уже затихло все; тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струею дымной по камням,
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом,
А там вдали, грядой нестройной,
По вечно гордой и спокойной,
В своем наряде снеговом
Тянулись горы, и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем.
По беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?

С подобным же вопросом Лев Толстой писал свою героическую эпопею «Война и мир». Русский народ вышел победителем из великих войн, которые суждены ему были историей, но в нем всегда жила и живет великая мечта

...о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся, —

по вещему слову Пушкина.

14 января 1841 года Лермонтов получил отпуск в Петербург.

«Объясню тайну моего отпуска, — писал он Д. С. Бибикову, — бабушка моя просила о прощении моем, а мне дали отпуск».

В начале февраля Лермонтов приехал в Петербург. Но вскоре же по приезде Лермонтов написал товарищу на Кавказ: «Здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды: приехав в Петербург на половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к г-же Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким».

На балу у графини А. К. Воронцовой-Дашковой Лермонтов встретил великого князя Михаила Павловича. Брат Николая I, командир всей гвардии, злобно посмотрел на опального армейского офицера, осмелившегося явиться на бал, на котором присутствовали члены императорской фамилии. Только заступничество хозяйки дома и А. О. Смирновой (Россет) избавило Лермонтова от самых неприятных последствий этой встречи с разгневанным великим князем.

Наутро Лермонтов был вызван к генералу графу П. А. Клейнмихелю, «который объяснил ему, что он уволен в отпуск лишь для свиданья с бабушкой и что в его положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает двор, и что поэтому он должен воздержаться от посещения таких собраний».^[38]

Лермонтов с первого шага своего в Петербурге мог убедиться в том,

что добытое им в боях ходатайство кавказского военного начальства о возвращении его, опального поручика, в гвардию будет оставлено без последствий, что в Петербург он допущен, как арестант из тюрьмы, на короткое свидание с родственниками, происходящее на глазах тюремщиков.

Клейнмихель с Бенкендорфом не выпускали поэта из-под самого бдительного надзора.

Успех произведений Лермонтова, (а ненавистный Николаю I «Герой нашего времени» вышел как раз в это время вторым изданием) — самый успех этот делал Лермонтова еще более ненавистным в глазах Бенкендорфа, Клейнмихеля и им подобных. Их было немало, и в их руках была власть. С первого дня своей поэтической славы, с появления «Смерти поэта», Лермонтов имел честь возбудить против себя вражду всех, кто преследовал и предавал декабристов, кто травил Пушкина, всех тех из высшего общества, кого Грибоедов клеймил под именем Фамусовых, Молчалиных и Скалозубов.

И, наоборот, вся «молодая Россия», нарождающаяся демократия во главе с Белинским и Герценом, была на стороне Лермонтова. Он был выразителем ее тревог, дум, сомнений, исканий и лучших порывов.

А. И. Герцен писал о Лермонтове: «Он всецело принадлежал к нашему поколению. Мы все, наше поколение, были слишком юны, чтобы принимать участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы видели только казни и ссылки. Принужденные к молчанию, сдерживая слезы, мы выучились сосредоточиваться, скрывать свои думы, — и какие думы! То не были уже идея цивилизующего либерализма, идеи прогресса, то были сомнения, отрицания, злобные мысли.

Привыкший к этим чувствам, Лермонтов не мог спастись в лиризме, как Пушкин. Он влачил тяжесть скептицизма во всех своих фантазиях и наслаждениях. Мужественная страстная мысль никогда не покидала его чело. Она пробивается во всех его стихотворениях. То была не отвлеченная мысль, стремившаяся украситься цветами поэзии, нет, рефлексия Лермонтова — это его поэзия, его мучение, его сила...

К несчастью, к слишком большой пронизательности в нем прибавлялось другое — смелость многое высказать без подкрашенного лицемерия и пощады. Люди слабые, задетые никогда не прощают такой искренности. О Лермонтове говорили как об избалованном аристократическом ребенке, как о каком-то бездельнике, погибающем от скуки и пресыщения. Никто не хотел видеть, сколько боролся этот человек, сколько он выстрадал, прежде чем решился высказать свои мысли».^[39]

Это были мысли целого поколения, давшего России замечательных

поэтов, писателей и мыслителей, принявших каждый свою долю преследования со стороны Бенкендорфов.

Лермонтов еще никогда не чувствовал себя таким близким к литературе, еще никогда так не влекло его к писательству, как в эти три месяца (февраль — апрель) в Петербурге.

В эти быстро пролетевшие короткие недели он часто бывал в кругу В. А. Жуковского, князя В. Ф. Одоевского, графа В. А. Соллогуба. В редакции «Отечественных записок», у А. А. Краевского, он встречался с В. Г. Белинским и И. И. Панаевым. Тогда же написал Лермонтов послание к поэтессе Е. П. Ростопчиной, подарившей ему книгу стихов «в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому» (надпись на книге).

Лермонтов испытывал в эти петербургские дни новый, могучий прилив творчества.

Он вновь работал над «Демоном»; рукою зрелого мастера он создал седьмую редакцию поэмы. Но все еще он не считал свою поэму законченной. Он увез ее с собою на Кавказ, собираясь там опять работать над нею. Седьмой редакции «Демона.» суждено было остаться последней, но не окончательной; Лермонтов так и не подписал своей поэмы к печати.

В Петербурге Лермонтов перенес на бумагу и ряд новых замыслов. Он начал роман в прозе из жизни современного Петербурга («у графа В... был музыкальный вечер»); этот роман из-за отъезда на Кавказ замер на третьей главе.

Он начал поэму в гекзаметрах из жизни древнего Рима в эпоху гонения на христиан. Поэма эта также оборвана была выездом на Кавказ на самом начале, но поэт успел уже нарисовать трогательный облик юной римлянки Виргинии, тайно принявшей христианство.

В. Г. Белинский писал о последнем пребывании Лермонтова в Петербурге: «Пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни — отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа, из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющих между собою связь и некоторое единство».

«Оправдание», «Родина», «Последнее новоселье», «Любовь мертвеца», «Из-под таинственной холодной полумаски», «Договор» — все

эти стихотворения столь по-разному, но с одинаковым совершенством отобразили глубокое «лирическое волнение», охватившее поэта в эти недолгие петербургские дни. Каждое из этих стихотворений возбудило восторг современников, и все они остались в сокровищнице русской поэзии.

В альбом С. Н. Карамзиной, дочери историка, в гостиной которой Лермонтов чувствовал себя в кругу верных друзей, он написал следующие строки:

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.
Но красоты их безобразной
Я вскоре таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.
Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор,
Люблю я парадоксы ваши
И ха-ха-ха и хи-хи-хи,
Смирновой штучку, фарсы Саши^[40]
И Ишки Мятлева^[41] стихи.

В шуточных стихах, где так просто и открыто выражена ласковая непринужденность, теплая веселость Лермонтова в кругу друзей, он признался в той глубокой перемене, которую ощущал он в своей душе и в своем творчестве.

И бури шумные природы,
И бури тайные страстей —

нельзя лучше определить самую суть творчества раннего Лермонтова. И вспоминая такие свои создания последних лет, как «Песня про купца Калашникова», «Казначейша», «Герой нашего времени», «Ребенку»,

«Казачья колыбельная песня», «Завещание», «Валерик», Лермонтов имел право сказать, что ему наскучил «несвязный, оглушающий» язык романтизма: в этих произведениях его могучая и смелая мысль уже «обрела язык простой», язык мудрой правды и прекрасной простоты.

Белинский один из первых заметил эту перемену в Лермонтове, когда, посетив его в ордонанс-гаузе, с отрадою сказал ему, что видит, «в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого», а Лермонтов в ответ улыбнулся и сказал: «дай бог!» Не укрылась эта перемена в Лермонтове и от Гоголя: в позднейших сочинениях Лермонтова, в его «правильной, прекрасной и благоуханной прозе» увидел он «больше углубления в действительность жизни»; автор «Мертвых душ» утверждал, что в Лермонтове «готовился будущий великий живописец русского быта».

Чуя в себе прилив свежих творческих сил, сознавая, что вступает со спокойной зрелостью таланта, на дорогу высшей художественной и народной правды, Лермонтов тем сильнее стремился теперь отдаться всецело деятельности писателя.

Писателю графу В. А. Соллогубу он признался: «Я чувствую, что во мне действительно есть талант, я думаю серьезно посвятить себя литературе. Вернусь с Кавказа, выйду в отставку, и тогда давай вместе издавать журнал».^[42]

Как но всем и всегда, и здесь, в планах журнальной деятельности, Лермонтов оставался самобытным.

Делясь мечтами о журнале с издателем «Отечественных записок» А. А. Краевским, он не одобрял направления этого журнала:

«Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским?.. Мы в своем журнале, — обращается он к Краевскому, — не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригинальное не так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще не говорит, откуда берет их».^[43]

Но все эти надежды и мечты о собственном журнале и еще более усиленной литературной деятельности были прерваны внезапно и жестоко.

«Как-то вечером, — рассказывал А. А. Краевский, — Лермонтов сидел у меня и, полный уверенности, что его выпустят в отставку, делал планы своих будущих сочинений... На другое утро часу в девятом вбегает ко мне Лермонтов и, напевая какую-то невозможную песню, бросается на диван.

Он в буквальном смысле слова катался по нем в сильное возбуждении. Я сидел за письменным столом и работал. — Что с тобою? — спрашиваю Лермонтова. Он не отвечает и продолжает петь свою песню, потом вскочил и выбежал. Я только пожал плечами... Через полчаса Лермонтов снова вбегает. Он рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катанье по широкому моему дивану. Я был занят; меня досада взяла: — Да скажи ты, ради бога, что с тобою, отвяжись, дай поработать! — Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть но свалил меня со стула. — Понимаешь ли ты! Мне велят выехать в 48 часов из Петербурга. — Оказалось, что его разбудили рано утром: Клейнмихель приказал покинуть столицу в дважды двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настоянию графа Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку».

Провожая Лермонтова из Петербурга, графиня В. П. Ростопчина, от лица всех друзей поэта, с горестью писала ему «На дорогу»:

Есть длинный, скучный, трудный путь,
К горам ведет он, в край далекий —
Там сердцу в скорби одинокой
Нет где пристать, где отдохнуть!
Там к жизни дикой, к жизни странной
Поэт наш должен привыкать,
И песнь и думу забывать
Под шум войны, в тревоге бранной!

По дороге на Кавказ Лермонтов опять, как в 1840 году, остановился в Москве и опять вел долгие беседы с московскими славянофилами. Один из разговоров был о тяжком положении русского крепостного крестьянства, о нестерпимой рабской духоте, в которой изнывала Россия. Ю. Ф. Самарин записал в своем дневнике: «В этом разговоре он был виден весь. Его мнение о современном состоянии России: «Хуже всего не то, что известное количество людей терпеливо страдает, а то, что огромное количество страдает, не сознавая этого»^[44].

Но в это же время Лермонтов записал в свою тетрадь основную свою мысль о России, полную веры в силы и будущее русского народа:

«У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем.

Сказывается и сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжкого сна и встал и пошел... и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними царствовать... Такова Россия».

Лермонтов провидел великое будущее России и страстно ждал, страстно призывал его.

В конце жизни он написал стихотворение «Родина», начинающееся признанием:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Нужно понять здесь Лермонтова. Какую славу не любит он, прославивший народную борьбу в «Двух великанах», в «Бородине»? Разумеется, не об этой славе народного подвига идет речь в этом стихотворении и не к ней автор «Бородине» чувствует нелюбовь, а к той официозной славе, к тому шовинистическому шуму и бутафорскому грому в истории, которую любили воспевать льстецы Екатерины II и Александра I, — к славе европейского жандарма, которой пользовался Николай I. И когда поэт, вызвавший из «темной старины» величаво-суровые преданья о вольнолюбивом Вадиме, о гордом боярине Орше, об удалом купце Калашникове, признается, что преданья старины «не шевелят» в нем «отрадного мечтанья», — это относится, конечно, не к этим героическим преданьям о людях сильной воли и мятежной страсти, о людях, любивших честь и свободу сильнее жизни (которых было немало в «темной старине») — это относится к печальным преданьям об унылом покорстве слабых, о дерзком произволе сильных...

В ее народе, и ее природе любит родину Лермонтов, — в вечных источниках ее бытия. И ему, как и Пушкину, не нужно приукрашивать выдумкой, романтической мечтой родную землю, чтобы она стала для него дорожке всего на свете. И «дрожащие огни печальных деревень», и эта. «среди желтой нивы чета белеющих берез» преисполнены той простой и грустной красоты, которая оказывается родной и для народной песни, и для повести Тургенева, и для романа Л. Толстого, и для симфонии Чайковского,

и для картины Нестерова — оказывается родной для всего в искусстве, в чем «сквозит и тайно светит» подлинный лик родины.

«Пройдите любую галерею русской живописи, — говорит историк В. О. Ключевский об отражении в нашей живописи дореволюционной, дооктябрьской России, — и вдумайтесь в то впечатление, какое из нее выносите: весело оно или печально? Как будто немного весело и немного печально: это значит, что оно грустно. Вы усиливаетесь вспомнить, что где-то было уже выражено это впечатление, что русская кисть ка этих полотнах только иллюстрировала и воспроизводила в «подробностях какую-то знакомую всем общую картину русской природы и жизни, производящую на вас то же самое впечатление, немного веселое и немного печальное, — и вспоминаете «Родину» Лермонтова».^[45]

Каждая строка лермонтовской «Родины» полна к ней той любви, которая, по слову Н. А. Добролюбова, «истинна, свята и разумна».

Каждая строка «Родины» — это сердечное признание в беззаветной, искренней, преданной любви к ней.

И вот почему так пламенно бичевал Лермонтов ее поработителей, душителей ее свободы.

«Уезжаю заслуживать себе на «Кавказе отставку; из валерикского представленья меня здесь вычеркнули, так что даже я не буду иметь утешенья носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук».

Так писал Лермонтов Д. С. Бибикову из Петербурга.

Вычеркнув Лермонтова «из валерикского представленья», Николай I дал строгий выговор командиру Отдельного кавказского корпуса генералу Е. А. Головину. Клейнмихель, по приказу Николая I, написал этому генералу: «Государь император, по рассмотрении доставленного о сем офицере списка, не изволил изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую ему награду. При сем его величество, заметив, что поручик Лермонтов при своем полку не находился, но был употреблен в экспедиции с особо порученною ему казачьею командою, повелеть соизволил сообщить вам, милостивый государь, о подтверждении, дабы поручик Лермонтов непременно состоял на лицо во фронте, и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку».

Этот приказ был получен кавказским начальством уже после смерти Лермонтова. Если б Лермонтов знал о нем, он понял бы, что царь дал приказ кавказскому начальству не выпускать его из-под строжайшего надзора и в то же время не допускать до таких боевых дел, где он, опальный офицер, мог бы ценою воинского подвига заслужить себе право на снятие опалы. По воле Николая I Лермонтов должен был нести лямку безвыходной службы в кавказских захолустьях, пока болезнь или пуля не прекратят его жизнь.

10 мая Лермонтов был уже на Северном Кавказе в Ставрополе и, собираясь в экспедицию в Дагестан, просил у С. Н. Карамзиной: «Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать».

Худо прикрытое отчаяние сквозит в этих словах. Еще недавно в запрещенном цензурой очерке «Кавказец» (1839) Лермонтов не без горького юмора рассказывал про армейского служаку, измученного долгой тяжкой службой:

«Годы бегут, кавказцу уже сорок лет, ему хочется домой, и если он не изранен, то поступает таким образом: во время перестрелки кладет голову за камень, а ноги вытягивает на пенсию; это выражение там освящено обычаем. Благодетельная нуля попадает в ногу, и он счастлив. Отставка с пенсионом выходит».

А теперь, в 1841 голу, сям он, подобно своему «герою», ждал «легкого ранения...»

В Москве и по пути на Кавказ у Лермонтова продолжается тот необыкновенный творческий подъем, который он чувствовал все последние месяцы. Прощаясь с Лермонтовым, 13 апреля князь В. Ф. Одоевский подарил ему записную книгу «с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную». А уже через месяц Лермонтов мог признать: «Я не знаю, будет ли это продолжаться, но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии или стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский, что, вероятно, принесло мне счастье».

В эту книжку Лермонтов вписал одно за другим: «Утес», «Спор», «Сон», «Тамару», «Свиданье», «Дубовый листок оторвался от ветки родимой», «Выхожу один я на дорогу», «Морскую царевну», «Пророка», те последние свои стихотворения, в которых навеки звучат высшие звуки его поэзии.

Эти звуки исполнены глубокой печали.

Лермонтов не скрывал от друзей, что едет на Кавказ с предчувствием скорой смерти. В Петербурге во время прощального ужина у графини Е. П.

Ростопчиной «Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти».^[46] Это предчувствие с особой силой выражено в стихотворении «Сон»:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана;
По капле кровь точилась моя.

Всего через несколько недель именно так труп Лермонтова лежал в долине между горами Машуком и Бештау.

Из Ставрополя же Лермонтов писал бабушке в раздумье: «Не знаю сам еще, куда поеду; кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды... Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощение и я могу выйти в отставку». Но по дороге, в Георгиевске, он решил переменить план: сначала поехать на воды — в Пятигорск, а оттуда уже в далекую Шуру.

Медицинское свидетельство подтвердило необходимость для него лечиться минеральными водами, и Лермонтов поселился в Пятигорске вместе с другом — родственником А. А. Столыпным.

В Пятигорске в эти недели, 23 мая — 15 июля, 1841 года царило большое оживление.

На воды съезжалось дворянское общество из двух столиц и со всей России. Едкую и точную характеристику этого «водяного общества» с его аристократическими претензиями, столичным чванством и провинциальной подражательностью этому чванству и претензиям Лермонтов дал в «Княжне Мэри». С этим обществом он был хорошо знаком еще с 1837 года, обновил это знакомство в сентябре 1840 года и теперь вновь встретился с ним еще враждебнее, чем прежде. В глазах Лермонтова это «водяное общество» было жалкой карикатурой петербургских салонов, московских гостиных и тех «лучших губернских домов», к которым он издавна не мог относиться иначе, как с чувством то насмешливой иронии, как в «Казначейше», то холодного презрения, как в «Княгине Литовской», то горячего негодования, как в «Маскараде», «Первом января» и «Смерти поэта».

Общество это отвечало Лермонтову явной и тайной неприязнью, и она становилась тем открытой и уверенней, чем более падало в глазах этого общества официальное положение Лермонтова. Блестящий гвардейский

кавалерийский офицер превратился в армейского пехотинца, высланного на Кавказ.

Было хорошо известно, что этот ссыльный офицер пользуется особым немилостивым вниманием императора, что он признан не достойным военных отличий, что он в сорок восемь часов удален из Петербурга по предписанию Клейнмихеля.

Французский путешественник маркиз Кюстин, посетивший Россию в 1839 году, писал, что в Петербурге в высшем обществе «человек жаждет взгляда своего властелина, как растение живительных лучей солнца; самый воздух принадлежит императору; им каждый дышит лишь постольку, поскольку ему это дозволено: у истинного царедворца легкие так же подвижны, как и спина»^[47].

В глазах членов подобного общества Лермонтов, не желавший существовать «как глупая овца в рядах дворянства с рабским унижением («Сашка»), тем более должен был казаться человеком ненавистным и опасным, раз он волею царя был отторжен навсегда из Петербурга.

В этом пятигорском летнем отделении петербургского «большого света», грибоедовской Москвы и черноземных дворянских усадеб было место и молодежи, но это была та самая молодежь, которую так беспощадно характеризовал Лермонтов в «Княгине Лиговской»: «Разговор их... был бессвязен и пуст, как разговоры всех молодых людей, которым нечего делать. И в самом деле, скажите, о чем могут говорить молодые люди, запас новостей скоро истощается, в политику благоразумие мешают пускаться, об службе и так слишком много толкуют на службе».

К пятигорскому Петербургу в миниатюре еще больше, чем к Петербургу «большого света», шло острое и злое признание Лермонтова: «Видел я образчики здешнего общества: дам очень любезных, молодых людей очень воспитанных; все они вместе производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и простого, но в котором с первого разу можно заблудиться, потому что хозяйские ножницы уничтожили всякое различие между деревьями».

В тесном Пятигорске, где все были на виду друг у друга, где каждое произнесенное Лермонтовым слово достигало общего слуха, где малейший шаг его будил эхо всеобщего внимания, встреча Лермонтова с «маленьким Петербургом», враждебно к нему настроенным, не могла не кончиться столкновением.

Но в Пятигорск он ехал не для этой встречи. Его влек туда круг сверстников, приятелей и друзей из военной молодежи.

Декабрист Н. И. Лорер вспоминал лето 1841 года:

«Гвардейские офицеры после экспедиции нахлынули в Пятигорск... Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодости, воды не пьет, конечно, и широко пользуется свободой после трудной экспедиции. Они бывают также у источников, но без стаканов: лорнеты и хлыстики их заменяют. Везде в виноградных аллеях можно их встретить, увивающихся и любезничающих с дамами.

У Лермонтова я познакомился со многими из них и с удовольствием вспоминаю теперь имена их. Алексей Столыпин (Монго), товарищ Лермонтова по школе и полку в гвардии; Глебов, конногвардеец, с подвязанной рукой, тяжело раненный в ключицу; Тиран, лейб-гусар; Александр Васильчиков, чиновник при Гане для ревизии Кавказского края; Сергей Трубецкой, Манзей и другие. Вся эта молодежь чрезвычайно любила декабристов вообще, и мы легко сошлись с ними на короткую ногу...

Лермонтов был душою общества и делал сильное впечатление на женский пол. Стали давать танцевальные вечера; устраивали пикники, кавалькады, прогулки в горы». ^[48]

Для Лермонтова несколько недель жизни в этом дружеском кружке означали не только ряд веселых праздников и товарищеских вечеринок, но и ряд вечеров, посвященных задушевным беседам на те заветные темы, которые волновали его в «Смерти поэта», в «Думе», в «Поэте», в «Споре», — на те самые темы, на которые он так горячо вел разговоры с В. Г. Белинским в Петербурге, с Ю. Ф. Самариным в Москве.

Н. И. Лорер недаром упомянул, что «вся эта молодежь», окружавшая Лермонтова, «чрезвычайно любила декабристов вообще». Среди этой молодежи были лица разных характеров, темпераментов, воззрений, но все они сходились, говоря словами А. И. Герцена, «в осуждении императорского режима, установившегося при Николае. Не существовало двух мнений о петербургском правительстве. Все люди, имевшие независимые убеждения, одинаково относились к нему». ^[49]

Тут были декабристы Н. И. Лорер, А. В. Вегелин, князь Валерьян Голицын, после сибирской ссылки отбывавшие, как и Лермонтов, принудительную военную службу на Кавказе. Тут был Лев Сергеевич Пушкин, хранивший в своей памяти множество эпиграмм и запрещенных стихов своего великого брата и сам мастер на острые стихи, которые «в печати не бывали». Тут были близкие Лермонтову члены петербургского «кружка шестнадцати»: бывшие «на замечании» у правительства А. А. Столыпин, князь С. В. Долгорукий, князь А. Н. Долгорукий. Последний

был человек «блестящего ума... язык у него был, как бритва».^[50] Подобно Лермонтову, он участвовал в сражении при Валерике и так же, как поэт, был лишен Николаем I награды; в 1842 году он был убит на дуэли князем Яшвилем, стрелявшимся с ним без секундантов.

Тут был князь С. В. Трубецкой, в судьбе которого было много сходного с судьбою Лермонтова. Подобно Лермонтову, он выслан был на Кавказ в 1840 году по приказу Николая I, чувствовавшего к нему особую неприязнь. В сражении при Валерике Трубецкой был тяжело ранен, и Николай I также лишил его заслуженной награды. В одно время с Лермонтовым Трубецкой получил в 1841 году отпуск в Петербург для лечения и для свидания с умирающим отцом; по личному повелению Николая I Трубецкой все время пребывания в столице провел под домашним арестом и в апреле, больной, был по высочайшему приказу внезапно отправлен на Кавказ.^[51]

А. А. Столыпину и С. В. Трубецкому пришлось быть в числе секундантов на смертельной дуэли Лермонтова.

Вот в кругу таких людей автор «Думы» мог делиться самыми заветными и опасными из своих дум.

«В Лермонтове, — говорит А. И. Васильчикова — было два человека: один добродушный для небольшого кружка ближайших своих друзей и для немногих лиц, к которым он питал особое уважение, другой — заносчивый и задорный для всех прочих его знакомых. К этому первому разряду принадлежали в последнее время его жизни прежде всех Столыпин (прозванный им же Монго), Глебов, бывший его товарищ по гусарскому полку, впоследствии тоже убитый на дуэли князь А. Н. Долгорукий, декабрист М. А. Назимов и несколько других ближайших его товарищей».^[52]

Уезжая на Кавказ, Лермонтов мечтал там укрыться «от всевидящего глаза» и «от всеслышащих ушей» Бенкендорфа и его клеветов., творивших волю Николая I, и в Пятигорске, ему казалось, он укрылся ст этих «глаз» и «ушей» в тесном дружеском кружке людей, сплоченных презрением к жандармским «мундирам голубым».

Лермонтов жестоко ошибался.

И он сам, и весь круг его близких сверстников находился под бдительным надзором тех же «мундиров голубых».

В Пятигорск для специального наблюдения был командирован Бенкендорфом «корпуса жандармов подполковник Кувшинников», державшийся до поры до времени в тени. Он располагал целую сеть тайных наблюдателей и осведомителей.

Все, что происходило в дальнейшем вокруг Лермонтова, все, что опутывало его сетью клеветы, лжи, неприязни, вражды, ненависти и, наконец, привело его к дуэли, — все совершалось на глазах, на слуху и не без тайного содействия этих «наблюдателей», подчиненных Кувшинникову в Пятигорске, непосредственно связанному с Бенкендорфом в Петербурге.

Чтобы погубить Лермонтова, они применяли тот же прием, что был уже успешно применен для гибели Пушкина.

Тяжелая, напряженная, предгрозовая атмосфера все более сгущалась вокруг великого поэта в Пятигорске.

Представители «водяного общества» окрестили друзей поэта презрительной кличкой «Лермонтовская банда».

Эта «банда», включавшая в себя все, что было талантливого, яркого и остроумного в пятигорской военной молодежи, наполняла городок не только задорным шумом своих кавалькад и весельем своих вечеринок, но и смелыми остротами, шутками, эпиграммами, язвившими «водяное общество» с его «княгинями Лиговскими», «баронессами Штраль», «Звездичами», «Грушницкими». Не было ни для кого секретом, что самые острые, злые и неотразимые эпиграммы исходили от Лермонтова. Они были изустны, никогда не заносились поэтом на бумагу и не дошли до нас в достоверном тексте, но как дерзки, смелы, язвительны были их укусы, свидетельством тому злая память современников, больше чем на полвека удержавшая следы этих эпиграмматических укусов.

Пятигорский священник Василий Эрастов, отказавшийся отпевать Лермонтова и написавший донос на другого священника, согласившегося его отпеть, уже в глубокой старости вспоминал:

«От него (Лермонтова) в Пятигорске никому прохода не было. Каверзник был, всем досаждал. Поэт, поэт! Мало что поэт. Эка штука! Всяк себя поэтом назовет, чтобы другим неприятность наносить... Он над каждым смеялся. Приятно, думаете, его насмешки переносить? На всех карикатуры выдумывал. Язвительный был».^[53]

Нет никаких данных о том, чтобы Лермонтов «согрешил» какой-нибудь эпиграммой против этого пятигорского «отца Василия», а между тем суждение его о Лермонтове дышит неугасшей за полвека злобой; в этой злобе слышится эхо той клеветнической ненависти, которой, пятигорское «светское» общество отвечало поэту на смелость его мысли, на независимость его жизненной поступи.

Эта ненависть прикровенно поддерживалась агентом Бенкендорфа — подполковником Кувшинниковым.

Из темной тучи этой ненависти, следовавшей за Лермонтовым из

Петербурга на Кавказ и сгустившейся над ним в Пятигорске, должен был последовать удар, смертельный для поэта, преемника Пушкина.

Удара этого не только ждали, — его подготовляли враги Лермонтова.

П. А. Висковатов писал еще при жизни иных из этих врагов Лермонтова, не имея возможности назвать их поименно:

«Некоторые из влиятельных личностей из приезжающего в Пятигорск общества, желая наказать несносного выскочку и задиру, ожидали случая, когда кто-нибудь, выведенный им из терпения, проучит ядовитую гадину. Выражение, которым клеймили поэта многие. Некоторые из современников и даже лиц, бывших тогда на водах, говоря о нем, употребляли эти выражения в беседе со мною.

Искали какое-либо подставное лицо, которое, само того не подозревая, явилось бы исполнителем задуманной интриги. Так, узнав о выходках и полных юмора проделках Лермонтова над молодым Лисаневичем, ему через некоторых услужливых лиц было сказано, что терпеть насмешки Михаила Юрьевича не согласуется с честью офицера. Лисаневич указывал на то, что Лермонтов расположен к нему дружественно и в случаях, когда увлекался и заходил в шутках слишком далеко, сам первый извинялся перед ним и старался исправить свою неловкость. К Лисаневичу приставали, уговаривали вызвать Лермонтова на дуэль — проучить. «Что вы, — возражал Лисаневич, — чтобы у меня поднялась рука на такого человека!»

Пришлось искать другого исполнителя смертного приговора великому поэту — исполнителя, к которому шло сказанное Лермонтовым об убийце Пушкина:

Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!

Таким исполнителем: приговора, давно вынесенного в Петербурге, явился Мартынов, «уволенный от службы из Гребенского казачьего полка майор».

Лермонтов был знаком с ним еще в юные годы, в Москве, был его товарищем по школе гвардейских подпрапорщиков, но никогда не был с ним сколько-нибудь близок. Мартынов был больше противоположен Лермонтову, чем Грушницкий Печорину.

Товарищ Лермонтова по университету, Я. И. Костенецкий, сосланный Николаем I в кавказские войска рядовым, оставил два портрета Мартынова

— при начале его военной карьеры и тогда, когда он стал убийцей Лермонтова:

«Это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин, со вздернутым немного носом и высокого роста. Он всегда был очень любезен, весел, порядочно пел под фортепиано романсы и полон надежд на свою будущность: он все мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. После он уехал в Гребенский казачий полк, куда он был прикомандирован, и в 1841 году я увидел его в Пятигорске, но в каком положении! Вместо генеральского чина он был уже в отставке майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского изящного молодого человека сделался каким-то дикарем: отрастил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, вечно мрачный и молчаливый!»^[54]

Вся эта «байроническая поза», напоминающая Грушницкого, весь этот наряд разочарованного скитальца-несчастливца был показным «романтическим» фасадом, которым самолюбивый, самоуверенный пошляк, вдобавок лишенный сердца, прикрыл свою умственную ограниченность и бездарность.

Этот байронический грим и романтический плащ на Мартынове был тем более несносен для Лермонтова, что Мартынов имел дерзость считать себя поэтом: он писал стихи.

Вирши Мартынова были пародией на кавказские мотивы Лермонтова, а весь Мартынов — пародией на лжеромантического «человека рока», из числа тех, о которых Лермонтов упомянул в «Герое нашего времени»: «Разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают...» Лермонтов добавил: «Нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок».

Лермонтов, в соответствии с карикатурно-романтическим видом Мартынова, дал ему две клички: «M-r le Poignard» — «Господин Кинжал» и «Savage» — «Дикарь». Мартынов не раз попадал и под карандаш Лермонтова, появляясь в черкесской бурке и со своим огромным кинжалом на карикатурах в его альбоме. Из этого альбома Лермонтов не делал тайны для Мартынова. Нет вероятия, чтобы Мартынов, живя в Пятигорске, не слышал и этих своих прозвищ. В товарищеском гвардейском кругу у всех были прозвища, в том числе и самого Лермонтова звали «Маёшка», и в этом прозвище не было ничего особенно лестного для Лермонтова: оно было дано ему за его будто бы сходство с язвительным большеголовым

горбуном — карликом Мауеих из французских сатирических листков.

Между тем и сам Мартынов в показаниях на суде, и все мемуаристы выставляют причиной дуэли именно эти злосчастные карикатуры и прозвища.

Если оставить в стороне показания Мартынова, самым близким ко дню дуэли является письмо дальней родственницы Лермонтова, Е. Быховец, от 5 августа 1841 года.

«Этот Мартынов глуп ужасно, — писала она из Пятигорска всего через двадцать дней после дуэли, — все над ним смеялись; он ужасно самолюбив: карикатуры его (на него. — С. Д.) беспрестанно прибавлялись. Лермонтов имел дурную привычку острить. Мартынов везде ходил в черкесске с кинжалом. Он (Лермонтов. — С. Л.) назвал его при дамах M-r le Poignard и Savage'ом. Он (Мартынов. — С. Л.) тут ему сказал, что при дамах этого не смеет говорить, тем и кончилось. Лермонтов совсем не хотел его обидеть, а так посмеяться хотел, бывши так хорош с ним. Это было в одном частном доме. Выходя оттуда, Мартынка глупой вызвал Лермонтова».^[55]

И показания Мартынова, и сообщения секундантов, и позднейшие мемуары в сущности мало что прибавили к показанию этого простого, искреннего письма.

Изустных и письменных «горцев с кинжалом» Мартынов слышал и видел от Лермонтова столько же, сколько сам Лермонтов, вероятно, слышал от Мартынова «Маёшку», большеголового горбуна-уродца.

Почему же этот ничтожный повод теперь стал причиной дуэли, и дуэли на необычайно тяжелых условиях? Мартынову, как оскорбленному, принадлежало право выбора оружия и условий дуэли. Он выбрал пистолеты и потребовал таких условий поединка, которые применялись редко, при наличии исключительно тяжелых оскорблений: стреляться до трех раз с барьера всего в десять шагов. Такая дуэль неизбежно вела к смерти или к смертельному ранению.

Обстоятельства роковой дуэли Лермонтова остаются доселе по многом неясными.

Но вся совокупность обстоятельств, предшествовавших вызову Мартынова, позволяет сделать одно утверждение: пистолет Мартынова направляла в сердце поэта та же невидимая рука, которая, требовала от офицера Лисаневича вызова Лермонтову. Мартынов имел уже в прошлом «удачную» дуэль, окончившуюся тяжелым ранением противника. Огромное и тупое самолюбие бездарного Мартынова, бессильного отвечать на эпиграмму Лермонтова эпиграммой же, давало великолепную возможность

превратить обычную шутку в повод для столкновения, а ничтожный повод превратить в причину дуэли с самыми тяжелыми условиями. Мартынов, направляя оружие в Лермонтова, сам был орудием чудовищного, злодейского умысла всесильных врагов поэта.

Все они, начиная от Бенкендорфа до Кувшинникова, хорошо знали, что Лермонтов противник дуэлей, что он сознательно подставлял свою грудь под шпагу и пистолет де-Баранта, не отвечая ему, и что таково, по всей вероятности, будет поведение Лермонтова и на предстоявшей дуэли с Мартыновым. И тем больше раздували они самолюбие Мартынова, тем яростнее внушали ему, будто «обида», нанесенная Лермонтовым, нестерпима, — и тем более кровавых условий поединка требовал Мартынов. При желании Мартынова воспользоваться правом трех выстрелов в противника, при ничтожном барьере в десять шагов и при заранее известном отношении к дуэли Лермонтова, она превращалась из поединка в убийство, безопасное для убийцы.

Лермонтов принял эти условия, почти беспримерные в практике русских дуэлянтов его времени.

Простодушная Е. Быховец писала:

«На другой день Лермонтов был у нас — ничего, весел; он мне всегда говорил, что ему жизнь ужасно надоела, судьба его так гнала., государь его не любил, великий князь (Михаил Павлович. — С. Д.) ненавидел, не могли его видеть; и тут еще любовь, он (Лермонтов. — С. Д.) был страстно влюблен в В. А. Бахметьеву; она ему была кузина».

Лермонтов шел на поединок с Мартыновым с тем же спокойствием, с каким он бросался первым на штурм чеченских завалов, удивляя даже старых кавказцев своей невозмутимостью пред лицом близкой смерти.

Он не обратил даже внимания на то, что, вопреки правилам дуэли, на поединок не взяли с собою врача.

Может быть, теперь это было спокойствие человека, желавшего, а возможно, и искавшего смерти.

Поединок состоялся 15 июля, в 6 часов 30 минут по-полудни.

«Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место по тропинке в колонию, — вспоминает один из секундантов, князь А. И. Васильчиков, — темная, громадная туча поднималась из-за соседней горы Бештау... Мы отмерили с Глебовым 30 шагов; последний барьер поставили на 10-ти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходитьсь каждому на 10 шагов по команде: «марш». Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову и скомандовали: «сходись». Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом

вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру' и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди, раненные или ушибленные.

Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом — сочилась кровь, нуля пробила сердце и легкие. Хотя признаки жизни уже, видимо, исчезли, но мы решили позвать доктора... Я поскакал верхом в Пятигорск, заезжал к двум господам медикам, но получил ответ, что на место поединка, но случаю дурной погоды (шел проливной дождь), они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого. Когда я возвратился, Лермонтов, уже мертвый, лежал на том же месте, где упал... Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой...

Наконец, часов в 11 ночи, покойника уложили на дроги, и мы проводили его все вместе до общей нашей квартиры».^[56]

Мартынов убил Лермонтова, заведомо не подвергаясь ни малейшей опасности быть убиту. Он выстрелял в Лермонтова в предельной, допускаемой условиями поединка близости к противнику, в десяти шагах; он метился и выстрелил в Лермонтова, который стоял «недвижим с поднятым вверх пистолетом», показывая этим, что не будет стрелять. Это было убийство, а не дуэль.

Е. Быховец, хорошо зная это, с негодованием писала в том же письме, через двадцать дней после выстрела Мартынова;

«Мой добрый друг убит, а давно ли мне этого изверга, его убийцу, рекомендовал как товарища, друга!.. Лер(монтову?) так жизнь надоела, что ему надо было первому стрелять, он не хотел, и тот, изверг, имел духа долго целиться, и пуля навывлет! Он мертвый был так хорош, как живой...»

То, что Лермонтов не пал в поединке, а был попросту убит, было хорошо известно людям, близко его знавшим.

Ю. Ф. Самарин писал И. С. Гагарину 3 августа 1841 года:^[57]

«Я вам пишу, дорогой друг, под горьким впечатлением известия, которое я только что получил. Лермонтов убит на дуэли, на Кавказе, Мартыновым. Подробности тяжелы. Он выстрелил в воздух, а его противник убил его почти в упор. Эта смерть, вслед за гибелью Пушкина, Грибоедова и многих других, наводит на самые грустные

размышления»^[58].

Все говорят, что это убийство, а не дуэль», писал студент Московского университета А. Елагин в августе 1841 года. «Да, сердечно жаль Лермонтова, особенно узнавши, что он был так бесчеловечно убит... Особенно, когда он сознавался в своей вине», писал П. А. Вяземский А. Я. Булгакову 4 августа 1841 года^[59]. В последних словах Вяземский лишний раз подтверждает правоту тех друзей Лермонтова, которые утверждали, что он искренно искал примирения с Мартыновым и даже винулся в своих шутках.

«В нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Луи-Филиппа, — писал тот же Вяземский, вспоминая гибели Пушкина. — Вот второй раз, что не дают промаха»^[60].

Вяземский горько подчеркивал какую-то особую «удачу» этих выстрелов в «поэзию», не угодную Николаю I и его приспешникам.

«Удача» эта, вызвавшая горечь друга Пушкина, привела в восхищение врагов его преемника.

«Вы думаете, все тогда плакали? — вспоминал вышеупомянутый Василий Эрастов. — Никто не плакал. Все радовались. От насмешек его избавились... Я видел, как его везли возле окон моих. Арба короткая... Ноги вперед висели, голова сзади болтается. Никто ему не сочувствовал».

В этом «воспоминании» нужно зачеркнуть слово «все»: смерть Лермонтова горько оплакивали те, кто был истинным выразителем чувств и дум народа — вся «молодая Россия» Белинского и Герцена, Россия нарождающейся демократии. Но официальная императорская «Россия», возглавляемая Николаем I, в столичном Петербурге и в далеком Пятигорске, испытывала те самые позорные чувства, которые так откровенно выразил священник, отказавшийся отпевать Лермонтова.

«Когда его убили, — свидетельствовал А. И. Васильчиков, — то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, что «туда, ему и дорога». Все петербургское общество, махнув рукой, повторило это надгробное слово над храбрым офицером и великим поэтом»^[61].

Эта высокопоставленная особа была, по преданию, сам Николай I.

Но кроме «петербургского общества» с его пятигорским отделением, торжествовавшим свое избавление от великого поэта, были и в большой России и в маленьком Пятигорске, как уже сказано, тысячи людей, чьи сердца гибель Лермонтова наполнила жгучим горем и негодованием. Как и при похоронах Пушкина, власти опасались даже сочувственных демонстраций в память погибшего Лермонтова.

«Я еще не знал о смерти его, — вспоминает декабрист Лорер, — когда встретился с одним товарищем сибирской ссылки Вигелиным, который, обратившись ко мне, вдруг сказал: «Знаешь ли ты, что Лермонтов убит?» Ежели бы гром упал к моим ногам, я бы и тогда, думаю, был менее поражен, чем на этот раз. «Когда? кем?» мог я только воскликнуть. Мы оба с Вигелиным пошли к квартире покойника, и тут я увидел Михаила Юрьевича на столе, уже в чистой рубашке... Живописец Шведе снимал портрет с него масляными красками. Дамы — знакомые и незнакомые — и весь любопытный люд стал тесниться в небольшой комнате, а первые являлись и украшали безжизненное чело поэта цветами... Полный грустных дум, я вышел на бульвар. Во всех углах, на всех аллеях только и было разговоров, что о происшествии. Я заметил, что прежде в Пятигорске не было ни одного жандармского офицера, но тут, бог знает откуда, их появилось множество, и на каждой лавочке отдыхало, кажется, по одному голубому мундиру. Они, как черные враны, почувствовали мертвое тело и нахлынули в мирный приют исцеления, чтоб узнать, отчего, почему, зачем, и потом доносить по команде, правдиво или ложно. Глебова, как военного, посадили на гауптвахту, Васильчикова и Мартынова — в острог, и следствие и суд начались. Вскоре приехал начальник штаба Траскин и велел всей здоровой молодежи из военных отправиться по полкам. Пятигорск опустел».^[62]

Вот когда подполковник Кувшинников со своими споспешниками по сыску явился действовать в открытую, в «мундирах голубых».

Он присутствовал при медицинском вскрытии тела Лермонтова и подписал его протокол.

Начальник штаба командующего войсками на кавказской линии и в Черноморье флигель-адъютант Траскин очутился в Пятигорске на другой день после дуэли и захватил в свои руки всю организацию следствия по делу дуэли. Но это большое военное лицо, тотчас же разогнавшее из Пятигорска всю военную молодежь, ничего не делало без совещания с жандармским подполковником Кувшинниковым. Траскин отлично знал об особом поручении шефа жандармов Бенкендорфа, ради которого Кувшинников был командирован из Петербурга в Пятигорск.

На другой же день после дуэли из Пятигорска полетели в Петербург три донесения о поединке и смерти Лермонтова: одно — Бенкендорфу, другое — военному министру Чернышеву, третье — самому Николаю I.

Похороны поэта состоялись 17 июля.

Друзья Лермонтова желали похоронить его, как боевого офицера, с воинскими почестями. Но это было запрещено. Гроб был донесен до

кладбища на плечах товарищей (в их числе декабриста Лорера) в сопровождении священника Александровского и опущен в могилу у склона Машука.

В январе 1842 года, по неотступным просьбам бабушки Арсеньевой, ослепшей от горя и слез по внуке, тело его было разрешено перевезти в Тарханы для погребения в семейном склепе, что и было совершено 23 апреля.

Князь П. П. Вяземский (сын поэта) рассказывал: «Летом, во время красносельских маневров, приехал из лагеря к Карамзиным флигель-адъютант полковник конногвардейского полка Лужин. Он нам привез только что полученное в главной квартире известие о смерти Лермонтова. По его словам, государь сказал: «Собаке — собачья смерть».^[63]

Для убийцы же Лермонтова, Мартынова, у Николая нашлись совсем иные слова: 20 августа в Пятигорске было получено от военного министра спешное предписание Николая I освободить Мартынова и секундантов из-под ареста и немедленно окончить судебное дело.

Затем военный министр в течение двух месяцев еще четыре раза, по требованию Николая I, напоминал командиру отдельного кавказского корпуса Головину, чтобы дело Мартынова «сколь возможно поспешнее приведено было к окончанию».

Генерал Головин, поняв, что Николай I принимает какое-то исключительное участие в этом деле и явно стоит на стороне Мартынова, не решился вынести окончательный приговор и послал военному министру лишь свое «мнение»: Мартынова — лишить чина, ордена и нависать в рядовые до выслуги, а секундантов продержать месяц в крепости и перевести Глебова из гвардии в армию тем же чином.

Николай I не согласился с мнением генерала Головина. Он резко смягчил наказание Мартынову, вернее сказать, попросту избавил его от наказания: царь приказал посадить майора Мартынова в крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию, причем Мартынов сам мог избрать себе и «крепость» для «отбытия наказания», и место для «церковного покаяния», а секунданты все были освобождены от наказания.

Мартынов выбрал для «наказания» и «покаяния» Киев и спокойно, на полной свободе, туда прибыл. «Мартынов отбывал церковное покаяние в Киеве с полным комфортом. Богатый человек, он занимал от личную квартиру в одном из флигелей Лавры. Киевские дамы были очень им заинтересованы, он являлся изысканно одетым на публичных гуляньях»^[64].

Эти неслыханные милости, оказанные Николаем I убийце Лермонтова, были царскою платою за большую услугу: за то, что пуля Мартынова навсегда оборвала жизнь ненавистного наследника Рылеева и Пушкина.

Приветствуя в 1843 году третье издание «Героя нашего времени», Белинский с великим горем спрашивал от лица всей молодой России:

«Что ж еще он сделал бы? какие поэтические тайны унес он с собою в могилу? кто разгадает их?.. Лук богатыря лежит на земле, но уже нет другой руки которая натянула бы его тетиву и пустила под небеса пернатую стрелу».

Этот вопрос доньне повторяет русский народ над могилой Лермонтова и над собранием его сочинений, повторяет с горячей любовью к великому народному поэту, со скорбью о нем и с ненавистью к его гонителям, выкопавшим ему раннюю могилу.

В 1832 году в глубоком раздумье о своем жизненном и творческом пути Лермонтов воскликнул:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит...

Все верно в этом признании восемнадцатилетнего юноши.

Во всей мировой поэзии нет, кажется, другого поэта, который был бы так, как Лермонтов, родственен Байрону, великому мятежнику начала XIX века, «властителю дум» многих поколений, стольких народов. Это родство с Байроном по духу сказалось не только во многих созданиях Лермонтова, но и в его судьбе.

Он, действительно, был «гонимый миром странник», переживший за недолгую жизнь и отраву злобствующей клеветы, и горечь долгих преследований, и одинокую тоску изгнания.

Но, родственный Байрону по духу мятежа и по судьбе преследуемого

«странника», Лермонтов с ранних дней жизненного сознания и творческого самоощущения знал, что он — «другой».

Как редко кто иной в русской и мировой поэзии, Лермонтов постоянно сознавал свое творческое «избранничество», сознавал в себе великого поэта, призванного дать людям новые думы в неслыханных еще звуках и новые образы в невиданных до того красках.

Но чем больше ощущал Лермонтов себя таким «избранником», тем яснее и радостнее было ему сознавать себя сыном своего великого народа — верным сыном «с русской душой».

Тот, кто спел величавую «Песню про грозного царя Ивана Васильевича», тот, кто сердцем прославил незаметных и мудрых героев Бородина и Кавказа, тот, кто горестно оплакал гибель Пушкина и гневом поразил его врагов (они же враги русского народа), тот кто в «Родине» и в других стихотворениях и прозе выказал такую нежную любовь к родине, к ее природе и истории, такую близость к заветным думам и лучшим устремлениям своего народа, — тот имел право сказать, что он — с «русскою душой».

Я раньше начал, кончу ране...

И в этом не ошибся Лермонтов: он так рано кончил, что до сих пор его ранняя могила возбуждает горестную скорбь во всех, кто знаком хоть с одним его творением.

Мой ум немного совершит...

Вот тут ошибся Лермонтов. Двадцати шести лет уйдя в могилу, всего лишь несколько лет отдав литературной деятельности, прерываемой военной учебой, военной службой и походами, он совершил так много, что его творческий труд и богатство результатов этого труда всегда будет возбуждать неутолимое удивление. Лирика во всех ее родах и видах, от грустной элегии до пламенной оды, от народной песни до философского раздумья; лирическая поэма; рассказ, повесть и роман в стихах; роман в прозе; драма в стихах и прозе, — во всех этих областях поэзии Лермонтов дал классические, образцовые произведения, которые будут жить, пока будет звучать русское слово.

Умереть двадцати шести лет — это значит быть Крыловым без басен,

Грибоедовым — без «Горя от ума», Пушкиным — без второй половины «Онегина», без «маленьких трагедий», «Медного всадника» и «Капитанской дочки», Гоголем без «Ревизора» и «Мертвых душ», — это значит быть Львом Толстым с одним «Детством», Достоевским — только с «Бедными людьми», — это значит в действительности вовсе не быть Крыловым, Грибоедовым, Пушкиным Гоголем, Толстым, Достоевским.

Но Лермонтов умер двадцати шести лет, и мы знаем великого поэта Лермонтова.

Он самый молодой из немногочисленной семьи великих поэтов. Едва выйдя из лет юности, он — с «Демоном», с «Песней про купца Калашникова», «Мцыри», «Героем нашего времени», с несравненными своими лирическими стихотворениями — вошел навсегда, как равный, в круг таких мировых поэтов, как Пушкин, Мицкевич, Шиллер, Байрон, Гюго. Его прозу Гоголь назвал «благоуханной» и поставил ее выше, прозы Пушкина и своей собственной. Тургенев, Лев Толстой, Чехов неоднократно признавались, что у Лермонтова-прозаика учились они благородной простоте речи, мудрой правде и красоте повествования. Лирические стихи и поэмы Лермонтова были школою поэзии для Некрасова и Огарева, для Фета и Полонского, для Вл. Соловьёва и Блока. Лермонтов был любимым поэтом Белинского, Герцена, Добролюбова, Чернышевского, Ленина. «Они, наши спасители, — эти писатели, как Лермонтов и Гоголь», утверждал Чернышевский, рассказывая об истории своего умственного развития. «Гоголь и Лермонтов кажутся недостижимыми, великими, за которых я готов отдать жизнь и честь», повторяет он в другой раз.

Лучшие стихи Лермонтова: «Узник», «Бородино», «Молитва», «Казачья колыбельная песня», «Сон», «Выхожу один я на дорогу», обрели бессмертие в устах народа: они давно уже превратились в народные песни, звучащие по всему простору родины Лермонтова.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных.
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.

Так звучит голос Лермонтова и в ныне переживаемые дни Отечественной войны.

Бывало, мерный звук твоих могучих слов

Воспламенял бойца для битвы.

Это не только «бывало» в прошлом; это есть в настоящем. Великий героический поэт Лермонтов силою могучих слов своей поэзии воистину воспламеняет всех нас для битвы с теми, кто покусился на «вольность, честь и мир» нашей родины, воспламеняет для битвы, завершающейся полной и светлой победой над врагом.

notes

Примечания

1

«Московский пушкинист», 1927, вып 1, стр. 44.

Все цитаты приведены по изданию: М. Ю. Лермонтов, Полное собрание сочинений. Редакция Б. М. Эйхенбаума, изд. «Academia», Л., 1935 — 1937 гг.

В. В. Стасов. Училище правоведения 40 лет тому назад. «Русская старина», 1881, кн. 2-я, стр. 410–411.

Стихотворение «Весна» было напечатано его учителем С. Е. Ранчем; поэма «Хаджи Абрек» появилась в печати без ведома и против желания Лермонтова, отданная в журнал его товарищем.

П. А. Висковатов, М. Ю. Лермонтов, М., 1891, стр. 19.

Все даты приводятся по старому стилю.

П. А. Висковатов, М. Ю. Лермонтов, стр 22–23.

А. Корсаков, Заметки о Белинском, Лермонтове, Полежаеве и гр. Потемкине. «Русский архив», 1881, № 4, стр. 436–459.

А. П. Шан-Гирей, М. Ю. Лермонтов, «Русское обозрение», 1890, № 8,
стр. 726.

«Испанцы», действие I, сцена 2-я.

Так озаглавлено это стихотворение в «Мнемозине», где впервые напечатано. Перепечатывая это стихотворение, Пушкин зачеркнул «мой».

А. И. Герцен, Былое и думы. Изд. «Academia». М., 1932, 1, стр. 84, 92–93.

А. П. Шан-Гирей, М. Ю. Лермонтов. «Русское обозрение», 1880, кн. 8-я, стр. 724.

А. П. Шан-Гирей, М, Ю. Лермонтов. «Русское обозрение», 1890, кн. 8-я.

См. статью И. Л. Андроникова, «Лермонтов в Грузии». «Красная новь», 1939, № 10–11.

П. А. Висковатов, М. Ю. Лермонтов. «Русская старина», 1887, кн. 10-я,
стр. 124–125,

Под Новгородом были расположены военные поселения, возникшие по мысли Александра I и Аракчеева и ненавистные солдатам и всему народу.

А. П. Шан-Гирей, М. Ю. Лермонтов. «Русское обозрение», 1890, кн. 8-я, стр. 747–749.

А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1876, стр. 26–27.

А. И. Васильчиков. Несколько слов в оправдание Лермонтова. «Голос», 1875, № 15.

«Русская старина», 1873, т. VII, кн. 3-я, стр. 387–388.

Орган высшей политической полиции при Николае I»

Korezak-Branicki, Les nationalites slaves. P., 1879, p. 1–3.

Письмо А. И. Тургенева к князю П. А. Вяземскому от 4 апреля 1841 года «Остафьевский архив», СПб., 1899 т. IV, стр. 112–113.

П. А. Висковатов. М. Ю. Лермонтов, М., 1891, стр. 320.

A. Dumas, *Le Caucase. Nouvelles impressions des voyages*, Leipzig, 1859, t. II, p. 258.

Из воспоминаний Н. М. Сатина. Сб. «Почин», М., 1895, стр. 240.

И. И. Панаев, Литературные воспоминания, Л., 1929, стр. 220.

И. И. Панаев, Литературные воспоминания, Л., 1929, стр. 220–222.

Письма В. Г. Белинского, под редакцией Е. А. Ляцкого, т. II, СПб., 1911, стр. 108–110.

П. А. Висковатов. М. Ю. Лермонтов, М., 1891. стр. 338.

Ю. Ф. Самарин, Соч., т. XII, М., 1911, стр. 56.

Там же, стр. 54.

Н. В. Сушкова. Московский университетский благородный пансион, М., 1868, стр. 16 (Приложения).

Заслуга этого открытия принадлежит советскому литературоведу С. А. Андрееву-Кривичу.

П. А. Висковатов, М. Ю. Лермонтов, М., 1891., стр. 312.

Там же, стр. 343

«Русская старина», 1873, т. VII. кн. 3-я, стр. 387.

А. И. Герцен, О развитии революционных идей в России. Полное собрание сочинений и писем, т. VI, П., 1917, стр, 373–375.

А. Н. Карамзин (1816–1868) — сын историка.

И. П. Мятлев (1796–1844) — поэт, автор сатирической повести в стихах «Сенсации и замечания г-жи Курдюковой».

В. А. Соллогуб, Воспоминания, СПб., 1887, стр. 189.

П. А. Висковатов, М. Ю. Лермонтов, М., 1891, стр. 368–369.

Ю. Ф. Самарин, Соч., т. XII, М., 1911, стр. 56–57.

В. О. Ключевский, Очерки и речи. М., 1913, стр. 138.

A. Dumas, *Le Caucase*. Leipzig, t. II, 1859, p. 260.

Маркиз де-Кюстин, Николаевская Россия. М., 1930, стр. 72.

Записки декабриста Н. И. Лорера, 1931, стр. 256–258.

А. И. Герцен. Новая фаза в русской литературе. Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке, П., 1923, т. XVII, стр. 232 — 233.

А. В. Мещерский, Из моей старины. «Русский архив», 1900, т. III, стр. 617.

Э. Герштейн, Лермонтов и кружок шестнадцати. «Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова». Сборник I, Институт мировой литературы имени Горького, М., 1941, стр. 109, 124.

А. И. Васильчиков. Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли с Н. С. Мартыновым. «Русский архив», 1872, кн. 1-я, стр. 206.

Е. Ганейзер, Отзыв современника о Лермонтове, «Вестник Европы». 1914, кн. III, стр. 392–393.

Я. И. Костенецкий, Воспоминания из моей студенческой жизни. «Русский архив», 1887, кн. 1-я, стр. 114–115.

«Русская старина». 1892. кн. 3-я, стр. 766–767.

А. И. Васильчиков, Несколько слов о кончине Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым. «Русский архив», 1872, кн. 1-я, стр. 211–212.

Ю. Ф. Самарин, Соч., т. XII, стр. 54.

А. И. Васильчиков, Несколько слов о кончине Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым. «Русский архив», 1872, кн. 1-я, стр. 211–212.

Э. Герштейн, Подлая расправа. «Известия ЦИК СССР». 1939, № 238.

Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского, т. IX, СПб., 1884,
стр. 200.

А. И. Васильчиков, Несколько слов о кончине Лермонтова. «Русский архив», 1872, кн. 1-я, стр. 209.

Записки декабриста Н. И. Лорера, 1931, стр. 261–262.

«Русский архив», 1867, т. III, кн. 9-я, стр. 142.

И. А. Висковатов, М. Ю. Лермонтов. М., 1891 стр. 443.